

ЛАУРЕАТ ГОНКУРОВСКОЙ ПРЕМИИ  
И ГРАН-ПРИ ФРАНЦУЗСКОЙ АКАДЕМИИ

ДЖОНАТАН ЛИТТЕЛЛ

**БЛАГОВО**

РОМАН

**ВОЛИТЕЛЬНИЦЫ**

НОВАЯ  
РЕДАКЦИЯ  
ПЕРЕВОДА

ADMARGINEM

Джонатан Литтелл  
**Благоволительницы**

«Ад Маргинем Пресс»

2006

УДК 821.133.1-31 Литтелл Д.  
ББК 84(4Фра)-44

**Литтелл Д.**

Благоволительницы / Д. Литтелл — «Ад Маргинем Пресс», 2006

ISBN 978-5-91103-506-8

Исторический роман французского писателя американского происхождения написан от лица протагониста – офицера СС Максимилиана Ауэ, одного из рядовых исполнителей нацистской программы «окончательного решения еврейского вопроса». Действие книги разворачивается на Восточном фронте (Украина, Северный Кавказ, Сталинград), в Польше, Германии, Венгрии и Франции. В 2006 году «Благоволительницы» получили Гонкуровскую премию и Гран-при Французской академии, книга стала европейским бестселлером, переведенным на сегодняшний момент на 20 языков. Критики отмечали «абсолютную историческую точность» романа, назвав его «выдающимся литературным и историческим явлением» (Пьер Нора). Английская The Times написала о «Благоволительницах» как о «великом литературном событии, обращаться к которому читатели и исследователи будут в течение многих десятилетий», и поместила роман в число пяти самых значимых художественных произведений о Второй мировой войне. Книга выходит в новой редакции перевода. Книга содержит нецензурную брань. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 821.133.1-31 Литтелл Д.

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-91103-506-8

© Литтелл Д., 2006  
© Ад Маргинем Пресс, 2006

# Содержание

Токката	7
Аллеманды I и II	19
Конец ознакомительного фрагмента.	60

# Джонатан Литтелл Благоволительницы

*Памяти павших*

© Jonathan Littell, 2006

© Ирина Мельникова – перевод с фр., 2012

© Мария Томашевская – лит. редакция, 2012

© Сергей Зенкин – послесловие, 2012

© Dens Dimiņš – лит. редакция, 2019

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2012–2014, 2019

## Токката

Люди-братья, позвольте рассказать вам, как все было. Мы тебе не братья, – возразите вы, – и знать ничего не хотим. Правда ваша, история темная, но назидательная, – настоящая нравоучительная повесть, уверяю вас. Боюсь, коротко не получится, но, в конце концов, столько событий произошло, и вдруг вы не слишком торопитесь и сможете уделить мне время. И к тому же вас это тоже касается, и вы увидите, до какой степени касается. Не думайте, я не пытаюсь вас ни в чем убедить; оставайтесь при

своим мнением. Если теперь, спустя годы, я и решился писать, то в первую очередь для того, чтобы не вам, а себе самому многое прояснить. Долго-долго ползаешь по земле, как гусеница, ждешь, когда выпорхнет на волю прекрасная воздушная бабочка, прячущаяся внутри тебя. Время идет, а червяк в куколку не превращается, – прискорбный факт, но что поделать? Самоубийство, конечно, тоже вариант. Но, честно говоря, меня оно никогда не привлекало. Я, разумеется, не раз думал о нем; если бы другого выхода не осталось, я бы выбрал следующее: прижал бы гранату к сердцу и расстался с жизнью с радостным треском. Прежде чем спустить рычаг маленькой круглой гранаты, я осторожно вынул бы чеку, улыбнувшись металлическому звуку развернувшейся пружины, последнему, который я услышу, не считая пульсирующего стука в висках. А потом – долгожданное счастье или, по крайней мере, покой и стены кабинета, украшенные тысячью кровавых ошметков. И пусть уборщицы наводят порядок – не слишком приятное занятие, но ведь за это им, собственно, и платят. Но, как я уже сказал, самоубийство не по мне. Впрочем, непонятно почему, скорее всего, из-за морально-философских пережитков, заставляющих меня повторять, что мы здесь не для развлечения. Для чего же тогда? Я не знаю, наверное, чтобы пожить подольше, чтобы убивать время, пока оно не убьет нас. И для этой цели писать – ничуть не хуже другого занятия. Нет, убивать время мне не приходится, я достаточно загружен: семья, работа, одним словом, множество обязанностей, когда уж тут пускаться в воспоминания. А ведь их хоть отбавляй. Я – настоящая фабрика воспоминаний. И всю жизнь только их бы и производил, но на сегодняшний день деньги мне приносят кружево. Вообще-то, я мог бы ничего не писать. Обязательств в этом отношении у меня нет. После войны я жил, не привлекая к себе внимания; слава богу, мне, в отличие от кое-кого из прежних сослуживцев, нет нужды писать мемуары ни в собственное оправдание, ибо оправдываться мне не в чем, ни ради денег: я прилично зарабатываю. Однажды, будучи по делам в Германии, я вел переговоры с директором крупной фирмы по пошиву нижнего белья, которому хотел продать партию кружев. Меня ему рекомендовали старые друзья, поэтому мы без лишних вопросов поняли друг друга. После плодотворной беседы директор встал, снял с полки книгу и подарил мне. Это были мемуары Ганса Франка, генерал-губернатора Польши, опубликованные посмертно под заглавием «Лицом к эшафоту». «Я получил письмо от его вдовы, – объяснил директор. – После процесса Франк оставил записи, которые она издала на собственные средства, и теперь продает книгу, чтобы прокормить детей. Вообразите, до чего дошло? Вдова генерал-губернатора! Я заказал двадцать экземпляров, раздаю при случае. И еще предложил всем начальникам отделов купить по одному. Она очень трогательно благодарила в ответ. Кстати, вы были знакомы с Франком?» Я сказал, что нет, но книгу прочту с интересом. На самом деле я с ним пересекался, возможно, я расскажу вам об этом позже, если хватит мужества или терпения. Но я не видел смысла признаваться в этом директору. Книга, впрочем, оказалась совершенно неудачной, сумбурной, плаксивой, насквозь пропитанной лицемерной набожностью. Мои заметки тоже наверняка назовут сумбурными и неудачными, но я постараюсь быть четким; по крайней мере, я обещаю не докучать вам покающейся исповедью. Мне жалеть не о чем: я лишь выполнял свою работу, а семейные дела – я и о них, возможно, расскажу – касаются только меня. Да, в конце я, конечно, натворил дел, но я уже был сам не свой,

словно потерял равновесие, да и весь мир вокруг пошатнулся; я не единственный, у кого в тот момент помутился рассудок, согласитесь. И потом я пишу не для того, чтобы моя вдова и дети не умерли с голоду, я способен их обеспечить. Нет, если я все же собрался писать, то, во-первых, чтобы занять свой досуг, и еще, пожалуй, чтобы прояснить кое-что – для себя, а может быть, и для вас. Кроме того, я думаю, что мне это пойдет на пользу. Настроение у меня и вправду поганое. Наверняка из-за запоров. Изматывающая и мучительная проблема, и вдобавок для меня совершенно новая: раньше все было наоборот. Я по три-четыре раза на дню бегал в уборную, а теперь раз в неделю – уже счастье. Приходится прибегать к клизмам, процедура на редкость неприятная, но эффективная. Извините за скабрзные подробности, но я тоже имею право иногда поплакаться. Если вам что-то не нравится, дальше не читайте. Я не Ганс Франк, не люблю кривляний. Я уж, как умею, стремлюсь к достоверности. Несмотря на перипетии, которых на моем веку было множество, я принадлежу к людям, искренне полагающим, что человеку на самом деле необходимо лишь дышать, есть, пить, испражняться, искать истину. Остальное необязательно.

Недавно жена принесла в дом черного кота, хотела меня порадовать. Моего мнения, разумеется, не спросила. Видимо, подозревала, что я наотрез откажусь, и поставила перед фактом. А коль животное попало в дом, уже ничего не поделаешь, внуки расстроятся и т. д. и т. п. Но кот был на редкость противный. Если я пытался его погладить, приласкать, прыгал на подоконник и тарасил на меня желтые глаза; если брал на руки, царапался. Но по ночам клубком сворачивался на моей груди, и под его тяжестью мне снилось, что я погребен под камнями и задыхаюсь. Вот и с воспоминаниями нечто похожее. Сначала, задавшись целью их записать, я даже отпуск взял. И, вероятно, совершил ошибку. Вроде и подготовка шла отлично: я накопил и прочитал множество книг, чтобы освежить события в памяти, расчертил схемы, составил развернутую хронологию и прочее, и прочее. Но в отпуске, на досуге, я вдруг пустился в размышления. К тому же стояла осень, противный серый дождь сбивал с деревьев листья, меня постепенно охватывала тревога. Я сделал вывод, что думать вредно.

Раньше я бы так не рассуждал. Среди коллег я слыл человеком спокойным, невозмутимым, рассудительным. Да, разумеется, я спокойный, хотя часто в течение дня голова моя гудит, глухо, словно печь в крематории. Я поддерживаю беседу, спорю, принимаю решения, но у стойки бара за рюмкой коньяка представляю, что в дверях появляется человек с винтовкой и открывает огонь; в кино или в театре мне мерещится граната с вынутой чекой, катящаяся под рядами кресел; на центральной площади в праздник я вижу полыхающую машину, начиненную взрывчаткой, послеобеденное веселье, превращенное в бойню, кровь, струящуюся по брусчатке, куски мяса, прилипшие к стенам или приземлившиеся в тарелке с воскресным супом, слышу крики, стоны людей, которым бомба оторвала конечности, как любопытный мальчишка выдергивает лапки насекомым, ощущаю тупое оцепенение уцелевших, вслушиваюсь в особую, будто залепляющую уши тишину – начало длительного страха. Спокойный? Да, я спокоен, что бы ни стряслось, я и вида не подам, я безучастный, застывший, как безмолвные фасады разгромленных городов, как старички в медалях и с палками на лавках в парках, как зеленоватые под толщей воды лица утопленников, которых никогда не найдут. При всем желании я не в силах нарушить этот жуткий покой. Я не из тех, кто раздражается по пустякам, я хорошо владею собой. Но и мне тяжело. И только что описанные мной сцены отнюдь не худшее; видения такого рода посещали меня давно, с самого детства, наверное; во всяком случае, задолго до того, как я оказался в жерле мясорубки. Война в определенном смысле доказала их правдоподобность, я привык к такого рода эпизодам и воспринимаю их как иллюстрацию бренности всего земного. Нет, самое трудное и утомительное состояние, когда нечем заняться и начинаешь размышлять. Давайте разберемся: о чем вы думаете в течение дня? Вообще-то предметов для размышлений немного. Можно с легкостью систематизировать ваши повседневные мысли: практические мысли, в которых вы сами не отдаете себе отчета, планирование действий и их

очередности (пример: поставить на плиту воду для кофе до чистки зубов, а положить хлеб в тостер – после, он быстро поджарится); рабочие проблемы; финансовые вопросы; семейные заботы; сексуальные фантазии. Обойдемся без подробностей. За ужином вы рассматриваете стареющее лицо жены, менее привлекательной в сравнении с любовницей, но в других отношениях вполне подходящей вам, – такова жизнь, ничего не поделаешь, и вы принимаетесь обсуждать последний правительственный кризис. Вам, конечно, глубоко плевать на правительственный кризис, а о чем еще говорить? Уберите подобные мысли, и что в остатке? Согласитесь, немного. Естественно, бывает и по-другому. Неожиданно между двумя рекламами стирального порошка прозвучали такты довоенного танго, скажем, «Виолетты», и вот всплывает в памяти плеск волн в ночи, фонарики кафешки и еле уловимый запах пота веселой женщины рядом с вами; улыбающееся личико ребенка у входа в парк напоминает вам сына, когда он учился ходить; на улице солнечный луч пронзил облака и высветил раскидистую крону и белый ствол платана – и вы вдруг очутились в детстве, во дворе школы, играете на перемелке в войну и вопите от восторга и ужаса. Вот и возникла у вас человеческая мысль. Но это редко случается.

Когда в отпуске отрешаешься от работы, привычных обязанностей, повседневной суеты, чтобы посвятить себя серьезному замыслу, все выглядит иначе. И вот черными тяжелыми волнами надвигается прошлое. По ночам спишь беспокойно, мелькают и множатся сны, а наутро в голове едкий влажный туман, и жди, пока он рассеется. Не поймите превратно: речь здесь не о чувстве вины и не об угрызениях совести. Они тоже присутствуют, я не отрицаю, но, уверен, все гораздо сложнее. Даже человек, который никогда не воевал, не убивал по приказу, прочувствует то, о чем я говорю. Припомнит мелкие подлости, трусость, лживость, мелочность – любому есть о чем сокрушаться. Неудивительно, что люди изобрели работу, алкоголь, пустой треп. Неудивительно, что телевидение пользуется успехом. В общем, я прервал свой злополучный отпуск, и к лучшему. А для писанины время у меня и так найдется, днем, за обедом, и вечером, после ухода секретарей.

Вынужденная пауза, меня тошнит, я после продолжу. Еще одна печаль: желудок у меня отказывается принимать пищу, иногда сразу после еды, иногда позже, без причины, просто так. Мучаюсь я уже давно, с войны, и началось это, если быть точным, осенью 1941-го, на Украине, в Киеве, кажется, или в Житомире. Я еще об этом расскажу. С тех пор я уже, конечно, привык: чищу зубы, опрокидываю рюмочку и снова за работу. Вернемся к моим воспоминаниям. Я обзавелся несколькими толстыми школьными тетрадами в клеточку и храню их теперь в запортом на ключ ящике письменного стола. Раньше я делал заметки карандашом на плотных карточках в мелкую клеточку; теперь я решил все систематизировать. Зачем, слабо представляю. Разумеется, не в назидание потомкам. Если я скоропостижно скончаюсь от инфаркта или апоплексического удара и мои секретарши возьмут ключ и откроют ящик, их, бедняжек, самих удар хватит, и жену мою тоже: одних записей на карточках уже будет достаточно. Бумаги надо бы побыстрее сжечь, чтобы избежать скандала. Мне-то все равно, я же умру. И, кстати, пишу я не для вас, хоть к вам и обращаюсь.

Мой кабинет – просторный, строгий, тихий – чудесное место для творчества. Белые, практически ничем не украшенные стены, витрина с образцами; и в глубине стеклянная перегородка, через которую виден расположенный внизу цех. Двойная рама не защищает от несмолкаемого стрекота станков Ливерса. Когда надо подумать, я встаю из-за стола и подхожу к окну, смотрю на станки, стоящие рядами у моих ног, наблюдаю за ловкими, точными движениями мастеров-тюльщиков, меня это умиротворяет. Порой я спускаюсь и прогуливаюсь между машинами. Цех темный, запыленные окна выкрашены в синий, потому что кружево – вещь деликатная и боится яркого света; в синеватом полумраке я чувствую себя хорошо. Мне нравится растворяться в дробном однообразном звуке, заполняющем пространство, навязчивом ритме металлического двухтактного перестука. Станки меня неизменно восхищают. Чугунные, зеленые, весом в десять тонн каждый. Некоторые старые, такие уже больше не выпуска-

кают; запасные части идут по специальному заказу; после войны пар заменили электричеством, но внутренний механизм не тронули. Я к ним не приближаюсь, боюсь испачкаться: множество движущихся деталей нуждается в постоянной смазке, но масло, конечно, испортило бы кружево, поэтому в производстве применяют графит. Толченый графит насыпают в длинный мешочек, похожий на чулок, потом мастер мерно, как кадиллом, размахивает им, припудривая вертящиеся шестеренки. Кружево выходит черным, графит покрывает стены, пол, станки и людей, следящих за работой. Хоть я и нечасто притрагиваюсь к станкам, устройство их мне прекрасно известно. Первые английские тюлевые станки, конструкция которых хранилась в строгом секрете, попали во Францию сразу после Наполеоновских войн, рабочие, не желавшие платить таможенную пошлину, ввезли их контрабандой. Позднее лионец Жаккард приспособил эти станки под изготовление кружева, установив в них перфокарты, расположение отверстий на них определяет узор. Внизу расположены два цилиндра с нитями; внутри душа станка – пять тысяч бобин, уместяющихся на каретке; кэтч-бар (во французском языке сохраняются некоторые английские термины) захватывает каретку, приводит ее в равновесие и двигает с громким, завораживающим пощелкиванием вперед-назад. Нити, ведомые медными чесалками, припаянными на свинец, переплетаются в узелки в соответствии со сложным хореографическим рисунком, набитым на пятистах-шестистах перфокартах, прижимная лапка опять приподнимает чесалки, и наконец появляется кружево, тонкое, как паутина, темное от графита, и медленно наматывается на барабан, закрепленный наверху станка.

Работа на заводе строго распределена между сильным и слабым полом: мужчины составляют узоры, перфорируют картон, натягивают нити, следят за станками и остальным цеховым оборудованием; их жены и дочери и по сей день меняют катушки, очищают полотно от графита, подправляют кружево, сортируют и складывают его. Традиции здесь уважают. Тюльщики, скажем так, – рабочая аристократия. Обучение долгое, работа кропотливая; в прежние времена мастера, изготавлившие кружево «кале», носили цилиндры, приезжали на завод в колясках и обращались к хозяину на «ты». Времена изменились. Война практически уничтожила наше производство, на ходу были лишь несколько станков, продукцию отправляли в Германию. Начинать заново с нуля; сейчас на севере Франции осталось не больше трехсот станков, а ведь до войны запускали четыре тысячи. Теперь, в период экономического подъема, тюльщики обзаводятся автомобилями быстрее иных буржуа. Но со мной рабочие на «вы». Думаю, они меня недолюбливают. Ничего страшного, никто их не просит меня любить. И потом мне самому они не особо приятны. Мы просто работаем вместе. Мастеру ответственному и старательному, у которого кружево не нуждается в дополнительной обработке, в конце года я выдаю премию; тех, кто приходит в цех с опозданием или подшофе, я наказываю. И мы отлично ладим друг с другом.

Возможно, вы спросите, почему я занялся кружевом. Я, честно говоря, никогда не метил в коммерсанты. Изучал право и политическую экономию, я доктор права, и в Германии Dr. jur.<sup>1</sup> становится законной приставкой моего имени. Признаюсь, обстоятельства, сложившиеся после 1945-го, помешали мне работать по специальности. Но если уж вам и вправду интересно все знать, то и юриспруденция не мое призвание: в молодости я увлекался литературой и философией. Но не сложилось – еще одна печальная глава в моем семейном романе; возможно, к этому я еще вернусь. Теперь-то понятно, на кружевной фабрике мне больше пригодились юридическое образование, чем литература. Вот, собственно, примерное развитие событий. Когда все закончилось, мне удалось уехать во Францию и выдать себя за француза; это не составило труда ввиду царившего повсюду хаоса. Я вернулся с теми, кто был выслан из страны, и лишних вопросов ко мне не возникало. К тому же мой французский безупречен, у меня же мать – французка, в детстве я десять лет жил во Франции, учился в коллеже, лицее, на подготовитель-

<sup>1</sup> Dr. jur. – сокращенное латинское Doctor juris (доктор права).

ных курсах и даже два года в парижской Свободной школе политических наук. Вырос я на юге страны и с легкостью придавал своей речи средиземноморский акцент, но в творившемся бардаке никто на меня внимания не обратил. На набережной Орсе меня встретили одним супом и, можно сказать, по-хамски, но ведь я, сознаюсь, прикидывался не просто высланным, а вывезенным на принудительные работы. Такие голлистам категорически не нравились, и меня, как и других горемык, хорошенько пропесочили, а потом отправили – пусть и не в отель «Лютеция», но восвояси, то есть на свободу. В Париже я не задержался: слишком уж много там знакомых, и сплошь нежелательных, – и отправился в провинцию, промышлял временными заработками. Потом все поутихло. Расстреливать перестали, да и в тюрьмы им сажать надоело. Я навел справки, отыскал одного знакомого. Он ловко выпутался из всех передраг, беспрепятственно перешел на сторону другой власти; будучи человеком дальновидным, тщательно скрывал, какие услуги оказывал нам прежде. Вначале он отказывался меня принимать, потом наконец разобрался, кто я, и понял, что выбора нет. Не скажу, что беседа была приятная: мы вели себя неестественно, скованно. Но он осознал, что интерес у нас общий: у меня – найти работу, у него – не потерять своей. На севере Франции жил его кузен, бывший торговый агент, который теперь пытался создать небольшое предприятие с тремя станками Ливерса, полученными от какой-то разорившейся вдовы. Этот человек взял меня к себе, и я колесил по стране в поисках покупателей на его кружево. Такая работа меня раздражала, и я постепенно убедил его, что больше пригожусь как организатор. В этой области я действительно имел солидный опыт, хотя пользы от него было примерно столько же, сколько от докторской степени. Предприятие расширялось, особенно с пятидесятых годов, когда я установил контакты с ФРГ и открыл немецкий рынок для нашей продукции. Я мог бы уже вернуться в Германию: множество моих сослуживцев преспокойно там существовали, кое-кому дали небольшой срок, других даже не потревожили. С моим образованием я без труда восстановил бы имя и научную степень, как ветеран войны, частично утративший трудоспособность, подал бы прошение о пенсии, и никто бы не возражал. Я бы быстро нашел работу. Но я вновь и вновь задавал себе вопрос: зачем все это? Право интересовало меня не больше, чем коммерция, и потом мне нравилось кружево – дивное, изящное творение рук человеческих. Когда мы приобрели достаточное количество станков, хозяин решил открыть вторую фабрику и назначил меня управляющим. С тех пор я сижу на этой должности, дожидаясь пенсии. Я, кстати, женился, безо всякой охоты, мягко говоря, но здесь, на севере, брак необходим, и с его помощью я упрочил положение в обществе. Жена моя из хорошей семьи, довольно привлекательная, приятная во всех отношениях, я быстро сделал ей ребенка, чтобы ей было чем заняться. К сожалению, она родила двойню, – вероятно, наследственность по моей линии, – а что до меня, мне бы вполне хватило одного отпрыска. Хозяин дал мне ссуду, и я купил уютный дом недалеко от моря. Вот так я и превратился в настоящего буржуа. Так или иначе, это был наилучший вариант. После всего пережитого я нуждался в покое и размеренности. Жизнь катком прошла по моим юношеским мечтам, а на пути из одного конца немецкой Европы в другой заодно уничтожила и страхи. Война опустошила меня, остались только горечь и стыд, как песок, скрипящий на зубах. Поэтому я и желал жизни, соответствующей всем социальным условиям, своего рода удобной оболочки, пусть я сам посмеивался над ней, а порой и ненавидел. При таком образе жизни я надеюсь в отдаленном будущем достичь состояния благодати Херонимо Надаля, не иметь пристрастий за исключением единственного – ни к чему не иметь пристрастия. Я иногда выражаюсь слишком литературно, это один из моих недостатков. Увы, мне до святости далеко, я еще не освободился от своих потребностей. Время от времени, ради сохранения мира в семье, я исполняю супружеский долг, добросовестно, без удовольствия, но и без отвращения. Во время поездок возвращаюсь к прежним привычкам, но теперь в основном из соображений гигиены. Все это стало для меня почти безразлично. Тело красивого юноши, скульптура Микеланджело – без разницы: дыхание у меня больше не перехватывает. Так после долгой болезни не ощущаешь

вкуса пищи и уже неважно, ешь ты говядину или курицу. Просто нужно питаться, вот и все. Если честно, мне теперь вообще мало что интересно. Книги, наверное, но мне порой кажется, что чтение просто вошло у меня в привычку. Возможно, и за воспоминания-то я принялся, чтобы кровь живее бежала, чтобы проверить, сохранилась ли во мне способность чувствовать и страдать. Интересное упражнение.

Однако о страдании я знаю не понаслышке. Все европейцы моего поколения получили свое, но без ложной скромности заявляю: я повидал больше многих. И еще я убеждаюсь день изо дня, что людская память коротка. Даже те, кто непосредственно принимал во всем участие, рассказывая об этом, прибегают к избитым выражениям и банальным мыслям. Взять хотя бы жалкие повествования немецких авторов о военных действиях на Восточном фронте: гнилая сентиментальность, безобразный, неживой язык. Вот, к примеру, популярный в последние годы сочинитель господин Пауль Карель. Так уж получилось, что я познакомился с ним в Венгрии, в те времена его еще звали Пауль Карл Шмидт; находясь под покровительством министра фон Риббентропа, он писал то, что думал, мощно, хлестко: *еврейский вопрос – не вопрос гуманизма, не вопрос религии, это вопрос политической гигиены*. Теперь же глубокоуважаемый господин Карель-Шмидт совершил настоящий подвиг, опубликовав четыре нудных тома о войне с Советским Союзом и ни разу не употребив слова *еврей*. Я в курсе, читал: с трудом, но я упрямый. Наши французские прозаики, Мабир и ему подобные, тоже гроша ломаного не стоят. Как, впрочем, и коммунисты, разве что точка зрения у них противоположная. Куда подевались певшие: «Ребята, о камни точите ножи»? Они молчат или мертвы. Мы болтаем, кривляемся, возьмем в трясине опошленных слов: *слава, честь, героизм*, все уже от этого устали. Быть может, я несправедлив, но смею надеяться, что вы меня поймете. Телевидение поражает наше воображение цифрами с рядами нулей, а кто-нибудь из вас задумывался, что реально стоит за ними? Хоть один из вас попытался посчитать всех своих нынешних и прежних знакомых и сравнить полученное смехотворное число с тем, что услышал по телевизору, с пресловутыми шестью или двадцатью миллионами. Решим математическую задачу. Решение таких задач полезная штука: начинаешь видеть вещи в истинном свете и дисциплинируешь мозги. А порой эти упражнения оказываются и весьма поучительными. Итак, уделите мне внимание и запаситесь терпением. Я коснусь лишь двух пьес, в которых мне удалось сыграть роль, пускай совсем незначительную: войны с Советским Союзом и программы уничтожения, фигурировавшей в наших документах как «Окончательное решение еврейского вопроса» – *Endlösung der Judenfrage*, если процитировать этот чудный эвфемизм. На Западном фронте потери все-таки были относительно небольшие. Исходные данные у меня спорные, но не по моей вине: источники дают противоречивую информацию. Что до совокупных потерь советской стороны, я держусь традиционной цифры двадцать миллионов, объявленной в 1956 году Хрущевым, хотя Рейтлингер, известный английский ученый, настаивает на двенадцати миллионах, а по мнению Эриксона, не менее, если не более, авторитетного историка из Шотландии, двадцать шесть – это минимум. Таким образом, советские официальные данные близки к среднему арифметическому (с погрешностью в миллион). Потери немцев, только на территории СССР, сводятся – и здесь мы руководствуемся официальной и по-немецки точной статистикой – к 6 172 373 погибшим на Востоке с 22 июня 1941 года по 31 марта 1945-го, цифра, указанная в секретном рапорте ОКХ (Главного командования сухопутных войск вермахта), найденном после войны; сюда включены погибшие (свыше миллиона), раненые (около четырех миллионов) и без вести пропавшие (то есть погибшие плюс пленные плюс умершие в плену – около 1 288 000). Округлим количество погибших до двух миллионов, раненые нас в данном случае не интересуют, прибавим примерно пятьдесят тысяч погибших в Берлине с 1 апреля по 8 мая 1945-го и еще миллион погибших при захвате Восточной Германии и связанных с ним перемещениях гражданского населения, в итоге получается приблизительно три миллиона. Что до евреев, тут мы можем выбирать: общепринятая цифра, немногие, кстати, знают,

как она возникла, шесть миллионов погибших (на Нюрнбергском процессе Хёттль ссылался на Эйхмана, однако Вислицени утверждал, что коллегам Эйхман говорил не о шести, а о пяти миллионах; сам же Эйхман, когда евреи получили возможность допросить его лично, заявил, что число погибших где-то между пятью и шестью, но, бесспорно, не меньше пяти миллионов). Доктор Корхер в отчете для рейхсфюрера СС Генриха Гимmlера докладывал о почти двух миллионах на 31 декабря 1942 года, но когда мы беседовали с ним в 1943-м, признал, что цифры не совсем достоверные. Наконец, досточтимый профессор Хильберг, крупный специалист в этой области, которого нельзя заподозрить в предвзятости и тем паче в пронемецких взглядах, изложив серьезные аргументы на девятнадцати страницах, приходит к цифре 5 100 000, в общем согласующейся с показателями покойного оберштурмбанфюрера Эйхмана. Итак, опираясь на данные профессора Хильберга, мы получим следующую картину:

Потери советской стороны.....	20 миллионов
Потери немецкой стороны.....	3 миллиона
Всего (война на Восточном фронте).....	23 миллиона
Endlösung.....	5,1 миллиона

Итого 26,6 миллиона, из которых 1,5 миллиона евреев являются частью общего количества погибших с советской стороны («Советским гражданам и военнопленным солдатам и офицерам Советской армии, расстрелянным немецко-фашистскими оккупантами», – сдержанно сообщает надпись на замечательном монументе в Киеве).

Теперь займемся математикой. Война с Советским Союзом официально длилась с 3 часов утра 22 июня 1941 года до 23 часов 01 минуты 8 мая 1945-го, то есть три года, десять месяцев, шестнадцать дней, двадцать часов и одну минуту. Или, по-другому, 46,5 месяцев. 202,42 недели. 1 417 дней. 34 004 часа, или 2 040 241 минуту (с учетом дополнительной минуты). Программа «Окончательное решение» осуществлялась в те же сроки: до того ни каких-либо решений, ни систематических мер не принималось, уничтожение евреев происходило от случая к случаю. А теперь давайте поиграем с цифрами: Германия теряла 64 516 человек ежедневно, 14 821 еженедельно, 2 117 в день, 88 в час, 1,47 в минуту, и так в среднем каждую минуту каждого часа каждого дня каждой недели каждого месяца в течение трех лет, десяти месяцев, шестнадцати дней, двадцати часов и одной минуты. Евреев, советских граждан, погибало около 109 677 в месяц, 25 195 в неделю, 3 599 в день, 150 в час, 2,5 в минуту за тот же период. С советской стороны – 430 108 в месяц, 98 804 в неделю, 14 114 в день или 9,8 в минуту за тот же период. Средние суммарные показатели в моей задаче таковы: 572 043 погибших в месяц, 131 410 в неделю, 18 772 в день, 782 в час и 13,04 в минуту каждого часа, каждого дня, каждой недели, каждого месяца периода, длившегося, напоминая, три года, десять месяцев, шестнадцать дней, двадцать часов и одну минуту. И пусть те, кто смеялся по поводу дополнительной минуты, кому подобная дотошность показалась излишней, пусть они уяснят, что это означает приблизительно еще 13,04 погибших, и представят, если сумеют, как за одну минуту разом убивают тринадцать хорошо знакомых им человек. Кстати, можно вычислить интервал, с которым люди отправлялись на тот свет: в среднем один немец каждые 40,8 секунды, еврей каждые 24 секунды, большевик (в общее число включены и советские евреи) каждые 6,12 секунды, то есть примерно на каждые 4,6 секунды приходилась одна смерть, и так весь вышеобозначенный период. Теперь напрягите воображение и соотнесите эти цифры с реальностью. Возьмите наручные часы, отсчитывайте каждые 4,6 секунды по одному мертвецу (или каждые 6,12 секунды, 24 или 40,8 секунды – как вам больше нравится) и попытайтесь представить себе, как они ложатся перед вами – один, два, три убитых. Отличное упражнение для медитации, убедитесь сами. Или сравните с какой-нибудь недавней, потрясшей вас катастрофой. Если вы француз, то проанализируйте, например, жалкую алжирскую авантюру, нанесшую такой моральный урон вашим соотечественникам. За семь лет вы потеряли 25 000 человек, вместе с жертвами несчастных случаев; это чуть меньше количества погибавших за один день и тринадцать часов

на Восточном фронте или числа евреев, уничтожавшихся еженедельно. Я, естественно, не беру в расчет алжирцев: вас они не волнуют, ваши книги и передачи о них молчат. Но, однако же, за каждого француза вы убивали десять алжирцев, результат не хуже нашего. Здесь я, пожалуй, остановлюсь, продолжать можно сколько угодно, но делайте это без меня, пока земля не уйдет из-под ног. Мне подобное ни к чему: уже давно мысль о смерти ближе мне, чем вена на шее, как прекрасно сказано в Коране. Если вы умудритесь разжалобить меня, мои слезы, как серная кислота, обожгут ваши лица.

Позвольте мне еще одну цитату, и хватит, обещаю. В качестве вывода я использую изречение Софокла: «Не родиться совсем – удел лучший»<sup>2</sup>. Примерно о том же говорит и Шопенгауэр: «Лучше бы ничего не было. Если ближайшая и непосредственная цель нашей жизни не есть страдание, то наше существование представляет самое бесполое и нецелесообразное явление»<sup>3</sup>. И добавляет: «Хотя каждое отдельное несчастье и представляется исключением, но несчастье вообще – есть правило». Да, знаю, уже две цитаты, но идея общая: так и есть, мы живем в худшем из возможных миров. Конечно, война завершена. Урок усвоен, такое больше не повторится. Но неужели вы и вправду уверены, что урок усвоен? И войны не будет? В определенном смысле война не закончится никогда, хотя, возможно, такое и произойдет, когда упокоится с миром последний ребенок, родившийся в последний день сражений. Все равно, она продлится в его детях, в его внуках. До тех пор, пока постепенно не растрачено унаследованное, не сотрутся воспоминания, не смягчится боль, пока каждый не забудет о войне, и всё спишут на счет дедовских преданий, которыми не напугаешь детей, и тем более детей тех, кто погиб, или тех, кто хотел бы себе смерти.

Догадываюсь, что у вас на уме: злобный тип, – думаете вы, – злобный, отвратительный тип, короче, полное дерьмо, ему бы гнить в тюрьме, а не забивать нам головы невнятным философствованиями бывшего, наполовину раскаявшегося фашиста. Про фашизм скажу так: не надо все валить в одну кучу, что касается уголовного наказания, не судите заранее, я еще не рассказал свою историю, а по поводу моральной ответственности позвольте поделиться с вами кое-какими соображениями. Многие политические философы утверждают, что на период войны гражданин, в первую очередь, конечно, мужского пола, теряет самое основное право – право на жизнь, и со времен Великой французской революции и введения всеобщей воинской повинности этот принцип признан везде или почти везде. Но мало кто из философов добавляет, что гражданин теряет еще и другое право, тоже элементарное и для него жизненно важное, связанное с его представлением о себе как о цивилизованном человеке: право не убивать. На ваше мнение всем плевать. В большинстве случаев у человека, стоящего на краю расстрельного рва, согласия не спрашивали, равно как у умершего или умирающего на дне того же рва. Вы, вероятно, возразите мне, что между убийством противника на поле боя и уничтожением безоружных людей огромная разница; военные и нравственные законы разрешают первое и запрещают второе. Прекрасный аргумент – в теории, конечно, – и абсолютно не соответствующий реальным обстоятельствам этой войны. Отличие, которое установили после войны между «боевыми операциями», характерными для любого подобного конфликта, и «зверствами» группы садистов и психопатов, как я надеюсь доказать, условно, это выдумка, которой тешат себя победители. Уточню: победители западные, тогда как советские, несмотря на всю свою риторику, всегда понимали, что к чему: Сталин после мая 1945-го и первых публичных жестов от души потешался над так называемой «справедливостью»; ему требовались конкретные и практические вещи, рабы и материал для нового строительства, а не угрызения совести и стенания; он отлично знал: мертвые не слышат стенаний, а угрызения совести в карман не положишь. Я не собираюсь ссылаться на положение о *Befehlsnotstand* – крайней

<sup>2</sup> Софокл, «Эдип в Колоне», 1270. Перевод С. Шервинского.

<sup>3</sup> А. Шопенгауэр, «Афоризмы и максимы», гл. XII. Перевод Ф. Черниговца.

необходимости подчиняться приказу, высоко оцениваемое нашими почтенными немецкими адвокатами. Я все делал осознанно, в твердой уверенности, что это мой долг, выполнять его необходимо, как бы неприятно и горестно это ни было. Кроме того, тотальная война стирает понятие «гражданское население». Вот еврейский ребенок, удушенный газом или расстрелянный, и маленький немец, разорванный зажигательной бомбой, – согласитесь, только средства убийства разные, а по сути обе смерти бесполезны и ни на секунду не сократили войну; но человек или люди, убившие детей, верили, что так нужно и правильно, и, если они ошиблись, кого винить? Правды не изменить, даже если пытаться искусственно вычленив из общего военного конфликта то, что еврейский адвокат Лемпкин окрестил геноцидом, хотя надо заметить, нет геноцида – уж в нашем веке тем более – без войны и вне войны. И опять же, речь идет о коллективном феномене: геноцид сегодняшний – процесс, навязанный массами массам. Кроме того, в нашем случае процесс сегментирован в соответствии с требованиями масштабных производственных методов. По Марксу, рабочий отчужден от продукта своего труда, при геноциде или в войну в современной ее форме подчиняющийся приказу также отчужден от результата своих действий. Даже в том случае, когда человек приставляет дуло к голове другого человека и нажимает на спусковой крючок. Ведь жертву привели другие люди, решение о казни вынесли третьи, и тот, кто стреляет, – последнее звено длинной цепи, и знает, что не должен задаваться лишними вопросами, как и солдаты взвода, в гражданской жизни приводящие в исполнение приговор, вынесенный по статье закона. Стреляющий знает: то, что именно он выпускает пулю, а его товарищ стоит в оцеплении, и еще один ведет грузовик, – дело случая. И единственное, что он мог бы сделать, – это поменяться местами с конвоиром или шофером, не более того. Следующий пример, не из личного опыта, а из неисчерпаемой исторической литературы: немецкая программа уничтожения людей с тяжелыми физическими недостатками и душевнобольных под названием «Эвтаназия», или «Т-4», запущенная двумя годами раньше программы «Окончательное решение». Отобранных в соответствии с узаконенными предписаниями больных профессиональные медсестры доставляли в специальное помещение, регистрировали и раздевали; врачи их осматривали и отсылали в камеру; рабочий открывал газ; уборщицы мыли; полицейский заполнял свидетельство о смерти. На допросах уже после войны каждый из них удивлялся: разве я виноват? Медсестра никого не убивала, она лишь раздевала и успокаивала больных, это была ее обычная работа. Врач тоже не убивал, просто подтверждал диагноз, руководствуясь критериями, спущенными высшими инстанциями. Помощник, открывавший кран газа, вроде бы во времени и в пространстве теснее всего соприкоснувшийся с убийством, лишь проделывал техническую работу под контролем начальства и врачей. На уборщиц возложили, пожалуй, самую отвратительную функцию – ассенизацию и дезинфекцию. Полицейский занимался своими прямыми обязанностями, констатировал смерть и отмечал, что соблюдались действующие законы. Ну и чья здесь вина? Всех сразу или никого? Почему рабочий, подавший газ, виноват, а работник котельной, садовник или механик – нет? То же и с прочими моментами нашей грандиозной кампании. Виноват ли стрелочник на железной дороге, направивший поезд с евреями в сторону концлагеря? Он – государственный служащий, двадцать лет переводит себе стрелки и ведать не ведает, что внутри вагонов. И не его вина, что через его стрелку евреев доставляли из пункта А в пункт Б, где их уничтожали. Тем не менее в операции по уничтожению евреев он играет важнейшую роль: без него поезд не добрался бы до пункта Б. То же самое касается и чиновников, реквизировавших квартиры для пострадавших от бомбардировок, наборщика, печатавшего уведомление о депортации, поставщика, продававшего СС бетон и колючую проволоку, унтер-офицера хозяйственной администрации, снабжавшего бензином тайлькоманды СП, и Всевышнего, допустившего все это. Конечно, можно определить точные уровни уголовной ответственности, позволяющие одних привлечь к наказанию, а других предоставить суду собственной совести, которая у них вряд ли имеется; гораздо легче составлять законы постфактум, как в Нюрнберге. Кстати, и там творилась неразбериха. Почему

вздернули никчемного олуха-деревенщину Штрейхера, а не отъявленного негодяя фон дем Бах-Зелевски? Почему повесили моего начальника Рудольфа Брандта, а его шефа Вольфа – нет? Почему казнили министра Фрика, а не его подчиненного Штукарта, выполнявшего, по сути, всю работу? Штукарт – везунчик: пачкал руки лишь чернилами, а не кровью. Еще раз подчеркну: я не стараюсь доказать свою невиновность. Я виноват, вы нет, тем лучше для вас. Но вы должны признать, что на моем месте делали бы то же, что и я. Возможно, вы проявляли бы меньше рвения, но, возможно, и отчаяния испытывали бы меньше. Современная история, я думаю, со всей очевидностью засвидетельствовала, что все – или почти все – в подобных обстоятельствах подчиняются приказу. И, уж извините, весьма маловероятно, что вы, как, собственно, и я, стали бы исключением. Если вы родились в стране или в эпоху, когда никто не только не убивает вашу жену и детей, но и не требует от вас убивать чужих жен и детей, благословите Бога и ступайте с миром. Но уясните себе раз и навсегда: вам, вероятно, повезло больше, чем мне, но вы ничем не лучше. Крайне опасно мнить себя лучшим. Мы с готовностью противопоставляем государство, неважно, тоталитарное или нет, обычному человеку, ничтожеству или пройдохе. Забывая, что государство в основном и состоит из людей заурядных, у каждого из них своя жизнь, своя история, и цепь случайностей приводит к тому, что одни держат винтовку или пишут бумаги, а другие – в соответствии с написанной бумагой – оказываются под дулом этой винтовки. Развитие событий очень редко зависит от выбора и врожденных наклонностей. Далеко не всегда жертвы, обреченные на смерть, добрые, а палачи, которые убивают и мучают, злые. Думать так – наивно: достаточно столкнуться с бюрократией, даже в такой организации, как Красный Крест. Сталин нагляднейшим образом доказывает обоснованность моих аргументов, каждое поколение палачей он превращал в жертвы следующего поколения, и поэтому не имел недостатка в палачах. Государственная машина состоит из песка, крупинки которого она растирает в пыль. Она существует лишь потому, что все одобряют ее существование, даже – и довольно часто до последней минуты – ее жертвы. Без Хёсса, Эйхмана, Гоглидзе, Вышинского, без стрелочников на железных дорогах, производителей бетона и бухгалтеров в министерствах какой-нибудь Сталин или Гитлер были бы всего лишь бурдюками, полными ненависти и бесплодных мечтаний о могуществе. Наиболее распространена теперь точка зрения, что операциями по уничтожению руководили, как правило, люди нормальные, без садистских наклонностей. Да, конечно, на любой войне встречаются и чокнутые, и садисты, чья жестокость не поддается описанию, это правда. Согласен, СС могла бы усилить контроль за подобного рода элементами, хотя она и делала гораздо больше, чем обыкновенно говорят. Контролировать солдат сложно – спросите у французских генералов: в Алжире они здорово натерпелись от алкоголиков, насильников, убийц офицеров. Но проблема не в сумасшедших, которые есть всегда и везде. Наши спокойные пригороды кишмя кишат педофилами и психопатами, а наши ночлежки – страдающими манией величия; среди них есть весьма опасные: кое у кого на счету один, два, три, даже полсотни убитых, и потом государство, которое без колебания воспользовалось бы ими на войне, давит их, как комаров, напившихся крови. Но психи – не в счет. Угроза – особенно в смутные времена – кроется в обычных гражданах, из которых состоит государство. По-настоящему опасны для человечества я и вы. А если я не убедил вас, не читайте дальше: бессмысленно. Вы ничего не поймете и будете раздражаться, а толку – ни вам, ни мне.

Подобно большинству людей, я вовсе не хотел становиться убийцей. Я уже упоминал, что если бы мог, занимался литературой. Имей я талант, писал бы, а нет – преподавал бы, лишь бы жить в покое, окруженным прекрасными, лучшими творениями человеческого духа. Кто, кроме умалишенного, по доброй воле решиться убивать? А еще мне всегда хотелось играть на фортепиано. Однажды на концерте ко мне наклонилась пожилая дама: «Вы, наверное, пианист?» – «Увы, мадам, нет», – с сожалением ответил я. То, что я не научился и уже не научусь играть, до сих пор удручает меня, и порой даже сильнее, чем пережитые ужасы, чер-

ная река прошлого, несущая меня сквозь года. Никак не успокоюсь. Когда я был еще маленьким, мать купила мне пианино. На день рождения, кажется, мне исполнилось девять. Или восемь. Во всяком случае, до переезда во Францию к этому Моро. Я умолял ее месяцами. Я мечтал о карьере великого пианиста, о концертах, о водопадах легких, как пузырьки, звуков под моими пальцами. Но у нас не было денег. Отец исчез, счета его заблокировали (о чем я узнал позже), матери пришлось выпутываться в одиночку. И все же она раздобыла деньги, не знаю как; может, сэкономила или одолжила, а может, даже легла под кого-нибудь, – неважно. Несомненно, она возлагала на меня особые надежды и стремилась развивать мои способности. И вот в день моего рождения нам доставили пианино, настоящее прекрасное пианино. Даже если мать и приобрела его по случаю, стоило оно дорого. Поначалу я ликовал. Я стал ходить на уроки, но отсутствие прогресса быстро разочаровало меня, и я забросил занятия. Как любой нормальный ребенок, грезил я вовсе не о гаммах. Мать ни разу не упрекнула меня в неусидчивости и лени, но мысль о напрасно потраченных деньгах наверняка грызла ее. Пианино покрывалось пылью; у сестры оно тоже не вызывало интереса; я о нем забыл и не сразу заметил, когда мать продала его, разумеется, себе в убыток. Я никогда по-настоящему не любил мать, даже ненавидел ее, но случай с пианино вызывает у меня жалость к ней. Впрочем, отчасти она виновата сама. Ей бы настоять, проявить необходимую строгость, и я бы сейчас играл на пианино, радовался, находя спасение в музыке. Такое счастье играть дома, для себя. Конечно, я часто слушаю музыку и получаю огромное удовольствие, но это другое, это замещение. Точно так же, как мои любовные связи с мужчинами: в действительности – говорю, не краснея, – я бы предпочел быть женщиной. Не женщиной, живущей и действующей в этом мире, не женой, не матерью. Нет, голой женщиной, той, что лежит на спине с раздвинутыми ногами, задыхаясь под тяжестью мужского тела, вцепившейся в него, пронзаемой им, тонущей в нем, превращающейся в безбрежное море, в которое он погружается, бесконечным наслаждением. Меня влечет не внешняя сторона ее жизни, а темная, скрытая от чужих глаз. Но не случилось. Вместо этого я стал юристом, сотрудником службы безопасности – СД, офицером СС, а потом добрался до поста директора кружевной фабрики. Грустно, но факт.

Все, что я сказал, – чистая правда, но правда еще и в том, что я любил одну женщину. Единственную, и дороже нее у меня никого нет на свете. Но именно ее мне любить запрещено. Вероятно, мечтая оказаться в женском теле, я стремился к ней, хотел приблизиться к ней, быть как она, быть ею. Это похоже на правду, хотя ничего не меняет. Я никогда не любил мужчин, с которыми спал, просто использовал их, вот и все. Ее любовь заполнила бы мою жизнь до краев. Не смейтесь: любовь к ней – наивысшее достижение в моей жизни. Все это, подумаете вы, довольно странно для офицера СС. А что же, оберштурмбанфюрер СС не может иметь личной жизни, желаний, страстей, как любой другой человек? Таких, как я, тех, кого вы принимаете за преступников, сотни тысяч. И среди них, конечно, есть не только бездари, но и неординарные, творческие натуры, интеллектуалы, гомосексуалисты, невротики, влюбленные в собственную мать, да мало ли кто, а почему бы нет? И в других профессиях встречаются те же типы. Некоторые коммерсанты ценят хорошее вино и сигары, некоторые помешаны на деньгах, третьи перед работой вставляют себе в задницу дильдо, а под костюмами-тройками прячут похабные татуировки – если подобное вы допускаете, почему в СС и вермахте должно быть иначе? На фронте врачи, разрезая одежду на раненых, гораздо чаще, чем вы думаете, обнаруживали под формой женское нижнее белье. Доказывать, что я отличаюсь от остальных, бессмысленно. Я жил, прошлое дорого мне обошлось, тяжелый багаж у меня за плечами, но так уж сложилось, и я по-своему с этим справлялся. Потом началась война, я поступил на службу, вокруг царило нечто невообразимое, ужасы, зверства. По сути своей я не изменился, я всегда был одним и тем же человеком с нерешенными проблемами, хотя война добавила к ним новых, а ее ужасы перевернули меня. Для кого-то война, убийство – решение, но я к таким не отношусь, для меня, как для большинства людей, война и убийство – вопрос, на который нет ответа, ведь никто не

отвечает, если кричишь глубокой ночью. Одно влечет за собой другое: поначалу я действовал в рамках своих полномочий, а потом под давлением обстоятельств переступил черту, но все связано теснейшим образом, и невозможно утверждать, что я не дошел бы до подобных крайностей, не случись войны. Может, да, может, и нет, а быть может, я нашел бы другой выход. Знать нам не дано. Мейстер Экхарт писал, что «даже в аду ангел парит на райском облачке». Я всегда понимал, что верно и обратное: демон в раю парил бы на облачке из ада. Я не считаю себя демоном. Каждый мой поступок всегда оказывался следствием определенных причин, хорошо это или плохо, не знаю, но по-человечески понятно. И убийцы, и убитые – люди, вот в чем страшная правда. Нельзя зарекаться: «Я никогда не убью», можно сказать лишь: «Я надеюсь не убить». Я тоже надеялся прожить достойную и полезную жизнь, ощущать себя человеком, равным среди равных, и еще стремился внести вклад, лепту в общее дело. Но я обманулся, моей доверчивостью воспользовались, чтобы совершать дела непотребные, грязные, я перешел через темные берега, и все это зло вошло в мою жизнь, и ничего уже не поправить, никогда. В словах толку нет, они исчезают, словно вода в песке, а песок заполняет мне рот. Я живу, делаю, что могу, как все вокруг, я – человек, как и вы. Уж поверьте мне: я такой же, как и вы!

## Аллеманды I и II

Через реку Буг у границы был наведен понтонный мост. Рядом из серой, мутной воды торчали покореженные стальные сваи прежнего моста, взорванного советскими солдатами. Нашим саперам понадобилась всего одна ночь работы, по крайней мере, так говорили вкруг, и теперь фельджандармы, поблескивая на солнце полукруглыми бляхами, с невозмутимой уверенностью, словно у себя дома, регулировали движение. Вермахт имел преимущество; нам приказали ждать. Я то смотрел на широкую ленивую реку и тихие рощицы на другом берегу, то разглядывал сутолоку на переправе. Потом подошла наша очередь. Сразу после моста началась аллея из остовов русских военных машин, опрокинутых, сожженных грузовиков, танков, напоминающих вспоротые консервные банки, артиллерийских орудий, переломанных, как спички; нескончаемый проход между грудями развороченного, продырявленного снарядами, обугленного металла. За ними в щедром знойном воздухе лета переливались зеленью леса. Проселочную дорогу успели расчистить, но повсюду оставались следы взрывов, расплывшиеся масляные пятна, какие-то осколки. Показались первые дома Сокаля. В центре города на пепелищах еще потрескивали угли; покрытые пылью и пеплом трупы, в основном в гражданской одежде, валявшиеся среди щебня, мусора, обломков, загораживали часть улицы, а напротив, в тени парка, прямо под деревьями выстроились в ряд белые кресты. Два немецких солдата краской писали на них имена. Каждый крест был укрыт чем-то наподобие маленькой крыши. Там мы и ждали, пока Блобель в сопровождении Штрельке, нашего интенданта, отправился в штаб-квартиру. Сладковатый, тошнотворный запах смешивался с горечью дыма и гари. Вскоре Блобель вернулся: «Все в порядке. Расселением занимается Штрельке. Следуйте за мной».

Верховное командование армии, АОК, разместило нас в школе. «Мне очень жаль, – извинялся какой-то мелкий чиновник вермахта в мятой серо-зеленой форме. – Мы как раз занимаемся организационными вопросами. Скоро вам выдадут паек». Помощник командующего фон Радеcki, элегантный прибалт, махнул рукой, обтянутой перчаткой, и улыбнулся: «Ничего страшного. Мы надолго не задержимся». Кроватей не было, но одеяла принесли; мы расселись на низких скамейках за партами. Всего, наверное, человек семьдесят. Вечером дали почти совсем уже остывшего супу с капустой и картошкой, сырой лук, буханку черного липкого хлеба, высухавшего сразу после нарезки. Мне хотелось есть, я макал хлеб в суп и закусывал луковицей. Радеcki выставил охрану. Ночь прошла спокойно.

На следующее утро наш командир, штандартенфюрер Блобель созвал начальников служб и управлений, ляйтеров, в штаб-квартиру. Мой непосредственный начальник – руководитель Третьего управления – печатал отчет и приказал мне явиться вместо него. Верховное командование 6-й армии – АОК 6, – к которому мы были приписаны, расположилось в просторном здании австро-венгерской эпохи, с нарядным оштукатуренным оранжевым фасадом, украшенным колоннами и лепниной, а теперь изрешеченным осколками пуль. Нас встретил какой-то полковник, видимо коротко знакомый с Блобелем: «Генерал-фельдмаршал работает на улице. Идемте». Он привел нас в огромный парк, спускавшийся от дома до излучины Буга. Возле одиноко растущего дерева вышагивал взад-вперед человек в купальном костюме, окруженный гудящим роем офицеров, взмокших от пота в своей форме. Он повернулся к нам: «А, Блобель! Здравствуйте, господа». Мы отдали честь: это был генерал-фельдмаршал фон Рейхенау, главнокомандующий армией. От его выпяченной волосатой груди веяло здоровьем и силой; сложен он был атлетически, но лицо заплыло жиром, который сгладил прусскую тонкость черт; знаменитый монокль, до смешного нелепый, сверкал в солнечных лучах. Не переставая отдавать точные, подробные указания, он делал несколько широких шагов вперед, потом круто разворачивался, все, конечно, следовали за ним, что создавало некую суету, я несколько раз столкнулся с каким-то майором и из сказанного ничего толком не понял. Наконец командующий

остановился, чтобы отпустить нас. «Ах, да! Еще одно дело. Касательно евреев, пять винтовок – многовато, а людей у вас мало. По две винтовки на осужденного достаточно. Подумаем, сколько понадобится на большевиков. Вы можете задействовать целое подразделение, если речь идет о женщинах». Блобель взял под козырек: «Zu Befehl<sup>4</sup>, господин генерал-фельдмаршал». Фон Рейхенау щелкнул голыми пятками и вскинул руку: «Heil Hitler!» – «Heil Hitler!» – крикнули все в ответ хором.

Штурмбанфюрер доктор Кериг, мой начальник, с мрачным видом выслушал от меня рапорт. «Это все?» – «Я не все расслышал, штурмбанфюрер». Он скривился, принялся рассеянно перекидывать бумаги. «Я не понимаю. Кто, в конце концов, будет нами командовать? Рейхенау или Йекельн? А бригадефюрер Раш? Он где?» – «Я не знаю, штурмбанфюрер». – «Да, прямо скажем, не слишком много вы знаете, оберштурмфюрер. Идите».

Назавтра Блобель созвал всех офицеров. Рано утром человек двадцать уехали с Кальсе-ном. «Я отправил его с форкомандой в Луцк. Все подразделение соединится с ними через один-два дня. Там пока разместится наш Генеральный штаб. АОК также будет переведен в Луцк. Наши дивизионы быстро продвигаются вперед, пора браться за работу. Я жду инструкций обергруппенфюрера Йекельна». Сорокашестилетний Йекельн, ветеран Партии, был командующим частями СС и полиции Юга России, ХССПФ; то есть все формирования СС, действующие на этой территории, включая наше, так или иначе находились в его ведении. Кериг все пытался выяснить, кому мы подчиняемся. «Итак, мы выступаем под командованием обергруппенфюрера?» – «В административных вопросах нами руководит 6-я армия, а нашу тактику определяют приказы ХССПФ и РСХА, Главного управления имперской безопасности, переданные через группенштаб. Теперь понятно?» Кериг покачал головой и вздохнул: «Не совсем, но я надеюсь, что детали постепенно прояснятся». Блобель побагровел: «Вам все доходчиво объяснили еще в Претче, черт возьми!» Кериг сохранял спокойствие. «В Претче, штандартен-фюрер, нам совершенно ничего не объяснили. Нас потчевали речами и устраивали спортивные тренировки. Не более того. Я вам напоминаю, что на собрание с группенфюрером Гейдрихом на прошлой неделе представители СД приглашены не были. Уверен, для этого нашлись веские основания, но факт остается фактом: я до сих пор не имею ни малейшего представления о том, что вменяется мне в обязанности кроме составления рапортов о настроениях и поведении солдат вермахта». Он повернулся к Фогту, начальнику Четвертого управления: «Вы же присутствовали на том собрании. Как только наши задачи будут определены, мы начнем их выполнять». Фогт, явно смущенный, постукивал ручкой по столу. Блобель, мрачно уставившись в одну точку на стене, втягивал щеки и жевал их. «Ладно, – рявкнул он. – В любом случае, сегодня вечером сюда прибывает обергруппенфюрер. Завтра и обсудим».

Это довольно беспорочное совещание состоялось 27 июня, сомнений быть не может, потому что на следующий день перед нами с речью выступил обергруппенфюрер Йекельн, и в моих записях стоит 28-е число. Видимо, Йекельн и Блобель решили провести работу среди людей зондеркоманды, указать им правильный курс и обосновать мотивы; ближе к полудню команда в полном составе выстроилась на школьном дворе, чтобы выслушать командующего СС и полиции, ХССПФ. Йекельн говорил четко. Наша цель – выявить и уничтожить любой элемент, представляющий угрозу германским войскам. Большевик, народный комиссар, еврей и цыган может в любой момент взорвать наши казармы, убить наших людей, пустить под откос наши поезда или передать врагу жизненно важные секретные сведения. Наш долг – не дожидаться, пока он начнет действовать, и после этого наказать его, а помешать ему действовать. Учитывая, как быстро продвигается вперед наша армия, у нас не остается времени создавать лагеря для содержания подозреваемых: любого из них надо сразу расстрелять. Он обратился к находившимся среди нас юристам и напомнил, что СССР отказался подписывать Гаагские

<sup>4</sup> Слушаюсь (нем.).

соглашения. Таким образом, международное право, регулирующее наши действия на Западе, здесь теряет силу. Конечно, всех ошибок не избежать, конечно, не обойдется без невинных жертв, но, увы, это война; при бомбардировке города мирные жители тоже ведь погибают. Время от времени нам будет тяжело, кое-что будет причинять страдания нам, немцам, с нашей врожденной чувствительностью и человечностью, он прекрасно это понимает; но мы должны превозмочь самих себя; и ему остается лишь передать нам слова фюрера, которые он слышал непосредственно из его уст: *офицеры должны пожертвовать для Германии своими сомнениями*. Спасибо, и Heil Hitler! Прямота Йекельна сама по себе заслуживала похвалы. В Претче как Мюллер, так и Шрекенбах разглагольствовали о необходимости быть неслгибаемыми и беспощадными и не сообщили ничего конкретного, кроме того, что нас действительно ждет наступление на Россию. Возможно, Гейдриху в Дюбене на параде перед отправкой войск и удалось бы внести ббольшую определенность; но едва он начал говорить, как хлынул страшный ливень: Гейдрих прервался на полуслове и уехал в Берлин. Вот почему наше замешательство вполне оправданно, к тому же лишь немногие из нас имели хоть какой-то практический опыт; я сам с момента вступления в СД только составлял юридические документы, и я не был исключением. Например, Кериг занимался конституциональными вопросами; даже Фогт, начальник Четвертого управления, раньше работал в регистратуре. Что касается штандартенфюрера Блобеля, его вытащили из СП Дюссельдорфа, где он отлавливал деклассированных личностей, гомосексуалов и иногда, если повезет, коммунистов. В Претче ходили слухи, что он бывший архитектор, но с карьерой у него явно не заладилось. Человеком приятным Блобеля назвать было сложно. В отношениях с коллегами он был агрессивен, почти груб. Плоский подбородок, круглая голова с оттопыренными ушами, словно насаженная на тонкую шею с форменным воротником, напоминала лысую башку грифа; большой, похожий на клюв нос особо подчеркивал сходство. Проходя мимо него, я всякий раз чувствовал запах перегара; Гефнер утверждал, что он так лечит дизентерию. Лично я был рад, что у меня нет необходимости с ним часто общаться, а доктору Керигу в этом смысле не повезло, и он, кажется, порядочно мучился. Похоже, Кериг чувствовал себя здесь не совсем на своем месте. В Претче Томас объяснил мне, что в основном офицеров вербовали в конторах, где они никакой пользы не приносили, и раздавали им чины СС в соответствии с положением по службе (так я, например, оказался в ранге оберштурмфюрера СС, что-то вроде армейского обер-лейтенанта). Керига, всего месяц занимавшего должность государственного советника, благодаря высокому чину в бюрократическом аппарате произвели в штурмбанфюреры. Теперь он с трудом привыкал и к новым погонам, и к новым обязанностям. Большинство унтер-офицеров и солдат происходили из нижней прослойки среднего класса: лавочники, бухгалтеры, секретари канцелярий – эти люди, надеясь найти потом другую работу, нанимались в штурмовые отряды, СА, во время кризиса, но уже никогда не покидали их рядов. Определенную часть составляли фольксдойчи из Прибалтики или Рутении, угрюмые, безликие, неловкие и нелепые в военной форме; ценилось, собственно, только их знание русского, а по-немецки некоторые и слова толком сказать не умели. Признаться, фон Радечки разительно от них отличался: он хвастался, что прекрасно владеет и жаргоном проституток Москвы, его родного города, и Берлина, и всегда имел вид человека, знающего, что он делает, даже если и не делал ничего. Он немного знал украинский, вероятно, раньше работал где-нибудь в импорте-экспорте; он, как и я, был из Sicherheitsdienst, службы безопасности СС. Распределение на юг крайне его угнетало; он мечтал оказаться в центре, победителем войти в Москву, *пройтись своими сапогами по кремлевским коврам*. Фогт утешал его, уверял, что и в Киеве есть чем развлечься, но фон Радечки кривился: «Да, признаю, *Лавра* великолепна. Но больше и смотреть не на что, дыра». Вечером после выступления Йекельна мы получили приказ собирать вещи и завтра выступать, Кальсен уже готов был нас принять.

Когда мы вошли, Луцк еще горел. Нас встретил посыльный, чтобы сопроводить к пункту расквартирования; нам следовало обогнуть старый город и крепость, дорога была утомитель-

ной. Куно Кальсен занял музыкальную школу, располагавшуюся на широкой площади у подножия замка, – прекрасное строгое здание XVII столетия, бывший монастырь, успевший на протяжении последнего века послужить тюрьмой. Кальсен и еще несколько человек ждали нас на крыльце. «Очень удобное место, – рассказывал он, пока выгружали техническое оборудование и наши вещи. – В погребе даже сохранились камеры, их можно переделать в кабинеты, нужно только врезать замки, я уже отдал распоряжение». Камерам я предпочел библиотеку, но все книги были на русском или украинском. Фон Радецки тоже влез туда своим носом-луковицей и шарил взглядом по полкам, выискивая дорогие переплеты; он остановился возле меня, я поделился с ним недоумением по поводу того, что не нашел ни одной польской книги: «Удивительно, ведь совсем недавно здесь была Польша». Фон Радецки пожал плечами: «Представьте себе, красные все выгребли подчистую». – «За два года?» – «Двух лет предостаточно. Тем более для музыкальной школы».

Форкоманду завалили работой. Вермахт задержал сотни евреев и мародеров, с которыми нам предстояло разобраться. Пожары продолжали полыхать – видимо, саботажники старались. Отдельную проблему представляла старая крепость. Кериг, разбирая бумаги, нашел свой бедер и протянул его мне поверх вскрытых ящиков, ткнув пальцем в короткую справку: «Замок Любарта. Построен литовским князем, достопримечательность». Центральный двор замка был завален трупами – по слухам, НКВД накануне отступления расстрелял заключенных. Кериг предложил пройти посмотреть. Замок окружали огромные стены из грубого кирпича, возведенные на земляных насыпях, с тремя башнями по бокам; часовые вермахта охраняли вход, чтобы пройти; мне потребовалось вмешательство офицера абвера. «Извините. Генерал-фельдмаршал приказал обеспечить безопасность». – «Конечно, я понимаю». Они открыли ворота, и волна отвратительной вони ударила мне в лицо. Я забыл платок и прижал к носу перчатку, иначе дышать было невозможно. «Возьмите, – офицер протянул мне смоченную тряпку, – немного помогает». Действительно, немного помогло, но не слишком; я старался вдыхать и выдыхать через рот, но сладковатый, тяжелый, тошнотворный запах все равно заполнял ноздри. Я судорожно сглотнул, отчаянно сдерживая рвоту. «Первый раз?» – тихо спросил офицер. Я кивнул. «Привыкнете, – продолжил он, – хотя полностью, наверное, никогда». Сам он поблелел, но нос не прикрывал. Мы миновали длинный сводчатый коридор, потом маленький двор. «Вам туда».

Трупы сгребли в кучи, беспорядочно громоздившиеся теперь на большом мощеном дворе. Непрерывающееся монотонное жужжание сотрясало воздух: тучи жирных синих мух кружили над ними, над лужами крови и испражнениями. Мои сапоги приклеились к брусчатке. Тела мертвецов уже вздувались, я разглядывал их зеленоватую или пожелтевшую кожу, бесформенные, отекавшие, как от побоев, лица. Воняло ужасно, но это был запах – я узнал его – начала и конца всего, запах, обозначающий самую суть нашего существования. От таких мыслей меня опять замутило. Группки солдат вермахта в противогазах пытались разобрать безобразную свалку и уложить тела рядами; один из них дернул сильнее, оторвал руку, устало отбросил ее на соседнюю кучу. «Их больше тысячи, – тихо, почти шепотом, сообщил мне офицер абвера. – Украинцы и поляки, которых после вторжения большевики держали в тюрьме. Тут и женщины, и даже дети». Я хотел закрыть глаза или загородиться рукой, и в то же время хотел смотреть, насмотреться вдоволь, впитать взглядом открывшуюся передо мной непостижимую картину и, может быть, таким образом ухватить нечто ускользающее от человеческого понимания. В полной прострации я спросил офицера абвера: «Вы читали Платона?» Он озадаченно взглянул на меня: «Что?» – «Нет, ничего». Я повернулся и ушел. В глубине первого дворика слева я заметил дверь, толкнул ее, там оказались ступени. Я наугад бродил по этажам и пустым коридорам, потом в одной из башен нашел винтовую лестницу; на самом верху между стенами закрепили деревянные балки, мостик, с которого открывался вид на город. Оттуда тянуло дымом пожарищ – это как-никак было приятнее, и я глубоко вздохнул, потом достал из

портсигара сигарету и закурил. Запах разлагающихся останков, казалось, застрял в носоглотке, я старался избавиться от него, выпуская дым из ноздрей, но зашелся в кашле. Я огляделся вокруг. Внизу, внутри крепости, – сад, огороды и фруктовые деревья; за стеной – город и излучина Стыри; дымовую завесу разогнал ветер, и земля купалась в солнечном свете. Я спокойно докурил, потом спустился и вернулся на большой двор. Офицер абвера все еще находился там. Он смотрел на меня с любопытством, но без насмешки: «Вам лучше?» – «Да, спасибо». Я заставил себя взять официальный тон: «Вы выполнили точный подсчет? Мне нужны данные для рапорта». – «Еще нет. Завтра, я думаю, закончим». – «Установили национальность?» – «Я вам уже говорил, в основном украинцы и поляки. Трудно сказать наверняка, кто есть кто, у большинства отсутствовали документы. Их расстреливали группами, торопились». – «А евреи?» Он удивился: «Конечно, нет. Ведь это евреи и устроили». Я поморщился: «А, ну да». Он обернулся в сторону трупов, помолчал с минуту, потом пробормотал: «Какая мерзость». Я отдал честь. На улице толпились украинские мальчишки: один прокричал мне что-то, но я не понял вопроса, прошел мимо и отправился в музыкальную школу отчитываться перед Керигом.

На следующий день зондеркоманда по-настоящему приступила к работе. Взвод под командованием Кальсена и Курта Ганса расстрелял в садах крепости триста евреев и двадцать мародеров. Я вместе с доктором Керигом и штурмбанфюрером Фогтом целый день вел переговоры с начальником разведки 6-й армии *Is/O* Нимейером и его коллегами, в том числе гауптманом Луле, с которым накануне познакомился в крепости, он оказался из отдела по борьбе со шпионажем. Блобель настаивал, что ему не хватает людей, и просил вермахт помочь; но Нимейер был непреклонен: такие вопросы должны решаться генерал-фельдмаршалом и начальником штаба армии, оберстом Хаймом. Во время послеполуденного собрания Луле сообщил срывающимся голосом, что среди расстрелянных в замке обнаружены десять немецких солдат, страшно изуродованных: «Их связали, потом отрезали нос, уши, язык и гениталии». Фогт поднялся с ним в крепость и вернулся мертвенно бледный: «Да, это правда, ужасно, что за чудовища!» Новость вызвала сильное волнение. Блобель выбежал в коридор, изрыгая проклятия, потом вернулся обсудить событие с Хаймом. Вечером он объявил: «Генерал-фельдмаршал хочет провести карательную операцию. Ответить мощным ударом, раздавить мерзавцев». Кальсен отчитался о проведенных днем казнях. Все прошло гладко, но метод, утвержденный фон Рейхенау, две винтовки на одного приговоренного, требует корректировки: для надежности следует целиться в голову, а не в грудь, но от такого выстрела череп лопается, и нашим солдатам в лицо летят кровь и мозги, люди жалуются. Завязалась бурная дискуссия. Гефнер вставил свое слово: «Увидите, кончится *Genickschuss*<sup>5</sup>, как у большевиков». Блобель покраснел и хлопнул по столу рукой: «*Meine Herren!* Подобные высказывания недопустимы! Мы – не большевики!.. Мы – солдаты немецкой армии. Служим нашему великому народу и фюреру! Черт побери!» Он развернулся к Кальсену: «Если ваши люди такие чувствительные, пусть тогда шнапс подадут». Потом к Гефнеру: «Пуля в затылок не годится, надо что-то другое. Я не желаю, чтобы у людей возникало чувство личной ответственности. Пусть дальше расстреливают быстро, по-военному, и точка!»

Все следующее утро я оставался в АОК: после взятия города надлежало разобрать целые ящики бумаг, нам с переводчиком поручили просмотреть папки с делами, в частности документы НКВД, и решить, какие из них следует отослать в штаб зондеркоманды для более тщательного анализа. Нас особенно интересовали списки членов Коммунистической партии, НКВД и других органов власти: некоторые из этих людей наверняка остались в городе, чтобы вести разведывательную и подрывную деятельность, и смешались с гражданским населением, предстояло срочно установить их личности и обезвредить. Около полудня я зашел в здание музыкальной школы проконсультироваться с Керигом. На первом этаже царил странное вол-

<sup>5</sup> Выстрел в затылок (нем.).

нение: группы людей топтались по углам, возбужденно перешептывались. Я схватил за рукав шарфюрера: «Что здесь происходит?» – «Не знаю, оберштурмфюрер. Вроде что-то случилось со штандартенфюрером». – «А где офицеры?» Он показал на этаж, где мы расквартировались. На лестнице я столкнулся с Керигом; он спускался, бормоча себе под нос: «Бардак, просто бардак какой-то». «Что происходит?» – спросил я. Он мрачно ответил: «И как прикажете работать в подобных условиях?» – и пошел дальше. Я поднялся еще на несколько ступеней и услышал выстрел, звон разбитого стекла, крики. На площадке, перед открытой дверью комнаты Блобеля, в нерешительности переминались с ноги на ногу два офицера вермахта и Курт Ганс. «Что происходит?» – спросил я у Ганса. Он, скрестив руки за спиной, лишь кивнул подбородком в сторону комнаты. Я вошел. Блобель сидел на кровати в сапогах, но без кителя и размахивал пистолетом; Кальсен стоял рядом с ним и пытался направить пистолет в стену, не применяя силу и не хватая своего начальника за руку; окно разлетелось вдребезги; на полу я заметил бутылку шнапса. Блобель, белый, как полотно, ревел и брызгал слюной. Гефнер вошел за мной. «Что происходит?» – «Я не знаю, похоже, Блобелю плохо». – «Да он просто свихнулся». Кальсен увидел меня: «А, оберштурмфюрер. Передайте наши извинения солдатам вермахта и попросите их явиться позже, пожалуйста». Я отступил на шаг и столкнулся с Гансом, который решился наконец войти. «Август отправился за врачом», – сообщил Кальсен Гефнеру. Блобель продолжал орать: «Это невероятно, невероятно, они больны, я их убью!» В коридоре стояли навтыжку два бледных офицера вермахта. «Господа...» – начал я. Гефнер отпихнул меня и понесся через ступеньку по лестнице. Гауптман пронзительно заверещал: «Ваш комендант сошел с ума! Он хотел нас убить!» Я не знал, как реагировать. За моей спиной возник Ганс: «Господа, просим нас извинить. У штандартенфюрера серьезный приступ, мы вызвали врача. Мы вынуждены прервать беседу, поговорим позже». Из комнаты доносились вопли Блобеля: «Я убью этих гадов, пустите меня!» Гауптман пожал плечами: «Если все офицеры СС таковы... нам лучше отказаться от сотрудничества. – Потом, разведя руками, бросил другому офицеру: – Непостижимо, их, наверное, понабрали в психушках». Курт Ганс изменился в лице: «Господа! Вы оскорбляете честь СС...» Он горячился. Я вмешался, перебив его на полуслове: «Послушайте, мне еще точно неизвестно, что произошло, но, очевидно, речь идет о проблеме медицинского характера. Ганс, не стоит терять хладнокровия. Господа, как вам сообщил мой коллега, правильнее будет, если вы нас сейчас оставите, простите». Гауптман смерил меня взглядом: «Вас, кажется, зовут доктор Ауэ? Ладно, пойдем», – сказал он напарнику. На лестнице им встретился доктор из зондеркоманды Шперат и Гефнер: «Вы доктор?» – «Да». – «Будьте осторожны. Он может вас пристрелить». Я пропустил вперед Шперата и Гефнера и вошел следом. Блобель положил пистолет на ночной столик и отрывисто стал объяснять Кальсену: «Вы сами знаете, что нельзя расстрелять такое количество евреев. Нам нужен плуг, плуг, мы их тогда – в землю, в землю!» Кальсен обернулся к нам: «Август, позаботься о штандартенфюрере, я сейчас». Он взял Шперата под руку, отвел в сторону и принялся что-то быстро шептать. «Черт!» – рявкнул Гефнер. Он еле удерживал Блобеля, пытавшегося снова схватить пистолет. «Штандартенфюрер, штандартенфюрер, успокойтесь, я прошу вас!» – закричал я. Кальсен был уже рядом с Блобелем и заговорил с ним спокойным тоном. Шперат тоже подошел, взял пульс. Блобель дернулся было к пистолету, но Кальсен его отвлек. Теперь Блобеля увещевал Шперат: «Пауль, у вас переутомление. Надо сделать укол». «Нет! Никаких уколов!» – Блобель резко взмахнул рукой и заехал Кальсену по лицу. Гефнер подобрал с пола бутылку, показал мне, покачав головой: она была почти пуста. Курт Ганс молча стоял в дверях. Блобель выкрикивал бессвязные реплики: «Отребья вермахта расстрелять, вот кого! Всех!» У него начался бред. «Август, оберштурмфюрер, помогите мне», – приказал Кальсен. Втроем за руки, за ноги мы подняли Блобеля и уложили на кровать. Он не сопротивлялся. Кальсен свернул китель и подsunул ему вместо подушки; Шперат задрал Блобелю рукав и сделал укол. Блобель затих. Шперат отозвал Кальсена и Гефнера к двери посоветоваться, я остался с Блобе-

лем. В уголках губ у него выступила пена, он таращился в потолок и бормотал: «Под плуг, под плуг евреев». Я незаметно спрятал пистолет в ящик: никто об этом даже не подумал. Блобель задремал. Кальсен подошел к кровати: «Его отвезут в Люблин». – «Почему в Люблин?» – «Там в больнице занимаются такими случаями», – пояснил Шперат. «Сумасшедший дом там, вот что», – грубо добавил Гефнер. «Август, замолчи», – одернул его Кальсен. На пороге возник фон Радецки: «Что за цирк?» Курт Ганс принялся рассказывать: «Генерал-фельдмаршал отдал приказ, а штандартенфюрер заболел, перенапрягся. Хотел стрелять в офицеров вермахта». – «Его еще утром лихорадило», – вставил Кальсен. Он кратко обрисовал фон Радецки ситуацию, сказал о предложении Шперата. «Хорошо, – отрезал фон Радецки, – поступим, как советует врач. Я сам отвезу его. – Он слегка побледнел. – Вы начали уже подготовку к выполнению приказа генерал-фельдмаршала?» – «Нет, ничего не сделано», – ответил Курт Ганс. «Итак, Кальсен, действуйте. Гефнер, вы едете со мной». – «Почему я?» – нахмурился Гефнер. «Потому! – отрезал фон Радецки. – Идите, проверьте „опель“ штандартенфюрера. На всякий случай возьмите еще канистры с бензином». Гефнер не отступал: «Может быть, поедет Янсен?» – «Нет, Янсен поможет Кальсену и Гансу. Гауптштурмфюрер, – он выразительно взглянул на Кальсена, – вы согласны?» Тот задумчиво кивнул: «Не лучше ли вам остаться, штурмбанфюрер, а я сопровожу Блобеля? В данных обстоятельствах вы должны принять командование». Фон Радецки, не соглашаясь, замотал головой: «Напротив, я как раз думаю, что мне лучше ехать с ним». Кальсен сомневался: «Вы уверены?» – «Вам не следует так беспокоиться: обергруппенфюрер Йекельн скоро будет здесь со своим Генеральным штабом. Многие уже добрались, мне доложили. Он все возьмет в свои руки». – «Да. Потому что я... вы понимаете, Aktion <sup>6</sup> такого масштаба...» На губах фон Радецки заиграла тонкая улыбка: «Не волнуйтесь. Посоветуйтесь с обергруппенфюрером, обеспечьте необходимое, и все пройдет отлично, я вам гарантирую».

Часом позже офицеры собрались в большом зале. Фон Радецки и Гефнер уже уехали с Блобелем; когда они садились в «опель», тот начал брыкаться, и Шперат вынужден был сделать ему еще один укол, в то время как Гефнер его держал. Первым взял слово Кальсен: «Я полагаю, что все вы в той или иной степени в курсе положения дел». Фогт перебил его: «Нельзя ли еще раз изложить суть?» – «Как пожелаете. Узнав о том, что во дворе крепости найдено десять изуродованных немецких солдат, генерал-фельдмаршал сегодня утром отдал распоряжение о проведении карательной операции. За каждого убитого большевиками он приказал расстрелять сотню евреев, то есть всего тысячу. Штандартенфюрер получил его приказ, что, по-видимому, и спровоцировало нервный срыв...» – «Отчасти тут есть и вина военных, – вмешался Курт Ганс. – Прислали бы кого-нибудь поделикатнее, чем тот гауптман. Кстати, передавать приказ такой важности через гауптмана – почти оскорбление». – «Однако заметьте, что подобная история бросает тень и на СС», – парировал Фогт. «Послушайте, – резко вмешался Шперат, – речь сейчас не об этом. Я могу подтвердить, что штандартенфюрер заболел еще утром, у него была высокая температура. Я подозреваю брюшной тиф, и наверняка кризис спровоцировал именно он». – «Конечно, но ведь он еще и напился», – добавил Кериг. «Действительно, – отважился я, – в комнате валялась пустая бутылка». – «Он страдал кишечной инфекцией, – возразил Шперат, – и считал, что алкоголь дезинфицирует». – «Как бы то ни было, – заключил Фогт, – мы лишились командира, а заодно и его заместителя. А раз так, я предлагаю, чтобы до возвращения штурмбанфюрера фон Радецки его обязанности в зондеркоманде исполнял гауптштурмфюрер Кальсен». – «Но по званию, – запротестовал Кальсен, – по чину я ниже, чем вы или штурмбанфюрер Кериг». – «Верно, но мы не боевые офицеры. А среди командиров подразделений, тайлькоманд, вы – старший». – «Я – за», – сказал Кериг. У Кальсена вытянулось лицо, он переводил взгляд с одного офицера на другого, посмотрел на Янсена, но тот отвернулся и тоже кивнул головой в знак согласия. «Я считаю, – с нажимом проговорил Курт

<sup>6</sup> Акция, операция (нем.).

Ганс, – что вам надо принимать командование». Кальсен помолчал, потом пожал плечами: «Хорошо, воля ваша». – «У меня вопрос к доктору Шперату, – сказал Штрельке, начальник Второго управления. – Каково все-таки, по-вашему, состояние штандартенфюрера? Можно ли рассчитывать на его скорейшее возвращение или нет?» Шперат поморщился: «Не знаю. Трудно прогнозировать. Очевидно, что подобное расстройство не только нервного, но и соматического происхождения. Очень важно, каково будет его самочувствие после снижения температуры». – «Если я вас правильно понял, – кашлянул Фогт, – скоро он не вернется». – «Да, маловероятно. По крайней мере, в ближайшие дни – нет». – «Тогда, видимо, он не вернется вообще», – подытожил Кериг. В зале воцарилась тишина. Всех одновременно посетила одна и та же мысль, хотя никто не облек ее в слова: случись так, потеря была бы невелика. Еще месяц назад мы и понятия не имели, кто такой Блобель, лишь неделю находились в его подчинении, но уже успели понять, что работать с ним трудно, а порой просто невыносимо. Кальсен нарушил молчание: «Не забывайте, у нас это не единственный вопрос, на повестке дня еще планирование операции». – «Да, – подхватил с горячностью Кериг, – но это абсолютно бессмысленная затея, просто абсурдная». – «Что именно абсурдно?» – поинтересовался Фогт. «Репрессии, конечно! Можно подумать, мы живем во времена Тридцатилетней войны! И потом, как вы собираетесь опознать тысячу евреев? За одну ночь? – Он ткнул себя пальцем в нос. – По внешности? По носам? Измерять их станете?» – «Да, – согласился Янсен, до сих пор не проронивший ни слова. – Нелегкое дело». – «У Гефнера есть идея, – холодно сказал Курт Ганс. – Просто предложим им снять штаны». Кериг вдруг взорвался: «Смешно! Вы рассудка лишились?! Кальсен, скажите им!» Кальсен хмурился, но сохранял спокойствие: «Послушайте, штурмбанфюрер, не волнуйтесь! Мы обязательно найдем выход, я сейчас же свяжусь с обергруппенфюрером. Что до сути дела, мне все это нравится не больше, чем вам. Но приказ есть приказ». Кериг кусал губы, изо всех сил стараясь сдержаться. «А каково мнение бригадефюрера Раша? – выдавил он. – В конце концов, он возглавляет наши подразделения». – «А это еще одна проблема. Я пробовал с ним соединиться, но группенштаб еще в дороге. Я даже намереваюсь послать в Лемберг кого-нибудь из офицеров, чтобы передать сообщение и получить инструкции». – «Кого?» – «Думаю, оберштурмфюрера Ауэ. Обойдетесь без него день-два?» Кериг повернулся ко мне: «Как продвигается ваша работа с документами, оберштурмфюрер?» – «Я уже систематизировал большую часть. Чтобы закончить, мне нужно несколько часов». Кальсен взглянул на часы: «В любом случае, сегодня уже поздно, до ночи вам не добраться». – «Ладно, – разрешил Кериг, – завершайте дела и отправляйтесь на рассвете». – «Так точно! Гауптштурмфюрер, – обратился я к Кальсену, – что от меня требуется?» – «Проинформируйте бригадефюрера о ситуации и случившемся с командующим Блобелем. Аргументируйте наши решения и скажите, что мы ждем его дальнейших распоряжений». – «Пока будете в Лемберге, – прибавил Кериг, – постарайтесь разобраться в тамошней ситуации. Она, похоже, весьма запутанная, а я хотел бы понять, что там происходит». – «Zu Befehl!»

Вечером я вызвал четырех человек, чтобы поднять в кабинеты СД рассортированные архивы. Кериг пребывал в отвратительном расположении духа. «Что это значит, оберштурмфюрер?! – заорал он, увидев мои ящики. – Я, кажется, просил вас навести порядок!» – «Вы не знаете, сколько хлама я оставил внизу, штурмбанфюрер». – «Ну ладно. Придется нанять еще нескольких переводчиков. Хорошо. Ваша машина во дворе, спросите Гефлера. Отправляйтесь пораньше. Зайдите сейчас к Кальсену». В коридоре я пересекся с унтерштурмфюрером Цорном, младшим офицером, постоянным помощником Гефнера. «А, доктор Ауэ. Вам очень повезло». – «Почему?» – «Потому что вы уезжаете, а нас завтра ждет грязное дело». Я кивнул: «Да уж. Все готово?» – «Не знаю. Я отвечаю только за оцепление». – «Цорн постоянно ноет», – проворчал присоединившийся к нам Янсен. «Вы решили проблему?» – спросил я. «Какую?» – «Где взять евреев». Он хохотнул: «Ах, это! Очень просто. АОК распечатал объявления: всех евреев просят явиться завтра утром на главную площадь для обязательных работ.

Тех, кто придет, схватят». – «Вы надеетесь, что наберется нужное количество?» – «Обергруппенфюрер считает, что да, этот прием срабатывал неоднократно. В противном случае, если их будет мало, арестуют евреев-активистов и пригрозят расстрелом». – «Понимаю». – «Что за мерзость, – простонал Цорн. – Какое счастье, я отвечаю только за оцепление». – «Но вы хоть не сбежали, – буркнул Янсен. – Не то что эта свинья Гефнер». – «Так получилось, это не его вина, – заспорил я. – Он хотел остаться. Но штурмбанфюрер настоял, чтобы Гефнер сопровождал его». – «Да, конечно. А сам он, собственно, где? – Янсен злобно взглянул на меня. – Я бы тоже предпочел отправиться на прогулку в Люблин или Лемберг». Я пожал плечами и пошел искать Кальсена. Он вместе с Фогтом и Куртом Гансом изучал план города. «Да, оберштурмфюрер?» – «Вы вызывали меня?» Кальсен уже успокоился после собрания и теперь вполне владел собой. «Сообщите бригадефюреру доктору Рашу, что обергруппенфюрер Йекельн ознакомлен с приказами армейского командования и лично проконтролирует Aktion». Взгляд его был безмятежен; вероятно, решение Йекельна снимало с него тяжкий груз. «Он утвердит меня в качестве временного командующего до возвращения штурмбанфюрера фон Радеcki, – продолжил Кальсен, – если только бригадефюрер не захочет видеть на этом посту кого-то другого. Наконец, для Aktion он выделяет нам украинских пособников и роту девятого резервного полицейского батальона. Вот так». Я отсалютовал и, не сказав ни слова, вышел. Ночью я почти не спал, думал о евреях, которые придут завтра. Метод, взятый нами на вооружение, я находил порочным. Ведь будут казнены те, кто придут по доброй воле, доверившиеся немецкому Рейху, а другие – трусы, предатели, большевики – попрячутся, и их не найдут. Как сказал бы Цорн, порядочная мерзость. Я и радовался отъезду в Лемберг, ведь путешествие обещало быть интересным, и в то же время досадовал, что пропускаю операцию; я считал, что подобные вещи создают для каждого тяжелейшую проблему, которую, тем не менее, следует осознать и решить – прежде всего для себя самого, а не пытаться от нее уйти. Кальсен, Цорн и другие пытались все переложить на чужие плечи, уйти от ответственности: такая позиция казалась мне неверной. Если мы совершали нечто несправедливое, следовало задуматься и понять, было ли это необходимо и неизбежно или являлось следствием безрассудства, лени, легкомыслия. Вопрос требовал прямого ответа. Я знал, что распоряжение принято на высшем уровне; однако мы все-таки не автоматы, важно не только подчиняться установленному порядку, но и определить в нем свое место; сомнения одолевали и мучили меня. В конце концов, почитав немного, я уснул и проспал несколько часов.

В четыре утра я уже оделся. Гёфлер, шофер, ждал меня в офицерской столовой с плохим кофе. «У меня есть еще хлеб и сыр, если пожелаете, оберштурмфюрер». – «Нет, я не голоден». Я молча пил кофе, Гёфлер дремал. На улице стояла тишина. Попп, солдат, который должен был сопровождать меня, уселся за наш столик и теперь ел, громко чавкая. Я встал и вышел во двор покурить. Небо прояснилось, звезды поблескивали над высокими стенами старого монастыря, казавшимися в бледном мягком свете еще более холодными и неприступными. Луна скрылась. Гёфлер вышел и окликнул меня: «Все готово, оберштурмфюрер». – «Канистры с бензином взял?» – «Так точно. Три». Попп с винтовкой стоял рядом с дверцей «адмирала», неуклюжий и гордый. Я указал ему на заднее сиденье. «Обычно, оберштурмфюрер, сопровождающий садится впереди». – «Да, но я бы предпочел, чтобы ты сел сзади».

Переправившись через Стырь, Гёфлер свернул на трассу южного направления. Вдоль дороги шла разметка, судя по карте, до места добираться несколько часов. Утро понедельника выдалось прекрасным, спокойным, умиротворяющим. Война пока не тронула спящие деревни, контрольные посты пропускали нас без всяких трудностей. Слева небо посветлело, чуть позже еще красноватое солнце проглянуло сквозь деревья. По земле стелился легкий клочковатый туман; везде, куда ни кинь глаз, тянулись бескрайние ровные поля, изредка перемежающиеся деревнями, рошицами, невысокими, густо поросшими холмами. Небо медленно окрашивалось синевой. «Здесь, наверное, хорошая земля», – обронил Попп. Я не ответил, и он смолк. Мы

остановились в Радзихове передохнуть и поесть. Снова обломки бронетранспортеров громоздились по краям дорог и оврагов, сожженные дома обезобразили деревни. Постепенно движение становилось оживленным, мы обгоняли длинные колонны грузовиков с солдатами или продовольствием. У самого Лемберга путь перегородили, машины сбились в кучу, пропуская танки. Дорога дрожала, змейки черной пыли извивались по лобовому стеклу, забивались в щели. Гёфлер угостил нас с Поппом сигаретами. Его самого перекосило от первой затяжки: «Ну и дрянь же эти „Спортник“». – «Да вроде ничего, – отозвался я, – не привередничай». Танки прошли, к нам направился фельджандарм, знаками показывая, что двигаться нельзя. «Идет следующая колонна!» – кричал он. Я докурил и выкинул окурочок в окно. «Попп прав, – внезапно заговорил Гёфлер. – Славные места. Неплохо бы здесь обосноваться после войны». – «Ты бы остался?» – засмеялся я. Он пожал плечами: «Не от меня это зависит». – «А от кого?» – «От бюрократов. Если все здесь так же, как у нас, то не стоит и рыпаться». – «Чем бы ты тут занялся?» – «Если бы мог, господин оберштурмфюрер, я бы торговал, как у себя в деревне. Прикинул бы: хорошая табачная лавка, наверное, с прилавком фруктов и овощей». – «И тебе бы тут было лучше, чем дома?» Он резко стукнул ладонью по рулю: «У себя я все закрыл. Еще в тридцать восьмом». – «Почему?» – «Да из-за свиней картельщиков из „Реemtсма“. Им вздумалось брать с меня ренту в пять тысяч рейхсмарок в год, чтобы самим оставаться в выгоде. В моей деревне живет от силы семей шестьдесят, ну и как я наторгую сигарет на пять тысяч... А картельщиков не обойдешь, кроме них никто табак не поставлял. И я на всю округу один торговал, наш староста меня поддержал, писал письма гауляйтеру, чего мы только не перепробовали, но все напрасно. Кончилось судом, я проиграл, пришлось закрывать. Овощами много не наторгуешь. А потом меня призвали». – «И в твоей деревне теперь табаком не торгуют?» – раздался хриловатый голос Поппа. «Как видишь, нет». – «А у нас никогда и не торговали». Приближалась вторая колонна танков, все затряслось. Одно из боковых окон «адмирала» расшаталось и теперь жутко дребезжало. Я указал на это Гёфлеру, он кивнул. Танки следовали друг за другом, нескончаемой колонной: фронт быстро продвигался вперед. Наконец фельджандарм дал отмашку – дорога свободна.

В Лемберге царил хаос. Солдаты, которых мы расспрашивали на контрольных постах, не имели понятия, где находится комендатура СС и СД; хотя город взяли еще два дня назад, никто не позаботился об установке указателей. Мы выбрали наугад широкую улицу; она переходила в бульвар, пастельные фасады домов, высившихся по обеим его сторонам, были кокетливо декорированы белой лепниной, а посередине ровной разделяющей полосой росли деревья. Повсюду толпился народ. Между немецкими военными машинами циркулировали украшенные транспарантами и желто-голубыми флагами автомобили и открытые грузовики, туда битком набились люди, в основном в штатском, редко в форме, орали, распевали во все горло песни, палили в воздух из винтовок и пистолетов. На тротуарах и под деревьями народ, кто с оружием, кто без, громко приветствовал их, протискиваясь между немецкими солдатами с бесстрастными лицами. Лейтенант люфтваффе показал нам дорогу до комендатуры, оттуда нас отослали в АОК 17. Офицеры бегали вверх-вниз по лестницам, заходили и выходили из кабинетов, хлопали дверьми; в коридорах, под ногами, мешая проходу, валялись ворохи документов из советских архивов. В холле теснились вооруженные люди в пиджаках с желто-голубыми повязками; они возбужденно переговаривались на украинском или польском – не разберешь – с солдатами в немецкой форме. У некоторых на рукаве я заметил нашивку в виде соловья. Потеряв терпение, я поймал за руку молодого майора абвера: «Айнзатцгруппа „Б“? Они приехали вчера, сидят в кабинетах НКВД». – «И где именно?» Уставший взгляд: «Не представляю даже». Кончилось тем, что он все-таки дал мне в сопровождение своего подчиненного, уже успевшего там побывать.

По бульвару медленно, хоть пешком иди, тащились машины, потом движение и вовсе застопорилось. Я вылез из «опеля» посмотреть, что происходит. Люди орали, бешено аплоди-

ровали, вытаскивали из кафе стулья и ящики и вскарабкивались на них, чтобы лучше было видно, сажали на плечи детей. Я с трудом прокладывал себе дорогу. В центре толпы образовался круг, там, как на сцене, щеголяли мужчины в несуразных костюмах, вероятно украденных из театров и музеев: регентский парик и гусарский мундир 1812 года, магистерская мантия, отороченная горностаем, монгольские кинжалы и шотландская юбка; горжетки и опереточные наряды, римские тоги вперемешку с костюмами эпохи Ренессанса. Человек, напяливший кавалерийскую буденновскую форму, цилиндр и меховой воротник, размахивал длинным маузером; остальные несли дубинки и винтовки. Перед ряжеными, время от времени получая удар ногой или прикладом, ползали на коленях люди и лизали мостовую; большинство из них истекали кровью; толпа ликовала. За моей спиной кто-то бойко заиграл на аккордеоне; тут же десятки голосов подхватили знакомый веселый мотив, человек в шотландской юбке неизвестно откуда вытащил скрипку без смычка и принялся дергать ее струны, как на гитаре. Один из зрителей потянул меня за рукав и закричал, выпучив глаза: «Жид, жид, капут!» Мне и без него давно уже это было понятно. Я резко отдернул руку и стал пробираться сквозь толпу; Гёфлер между тем уже объехал бульвар и ждал меня. «Я думаю, нам сюда», – наш провожатый указал поперечную улицу. Очень скоро мы заблудились. Гёфлеру вдруг пришла идея спросить у прохожего: «НКВД?» – «НКВД капут!» – радостно заорал тот. Потом жестами объяснил, как найти бывшее здание комиссариата, оказавшееся всего в двухстах метрах от АОК, – мы ошиблись с направлением. Я отпустил офицера и пошел наверх, представляться. Мне доложили, что Раш в данный момент совещается с ляйтерами всех подразделений и офицерами АОК; неизвестно, когда он сможет меня принять. Один гауптштурмфюрер поспешил мне на помощь: «Вы из Луцка? Мы в курсе, бригадефюрер разговаривал по телефону с обергруппенфюрером Йекельном. Я уверен, что ваш рапорт его заинтересует». – «Хорошо, я подожду». – «Раньше чем через два часа он не освободится. Вы пока лучше пройдите по городу. Старый город стоит посмотреть». – «На улицах беспокойно». – «Да, вы правы. НКВД, перед тем как убраться, расстрелял три тысячи тюремных заключенных. А после все украинские и галицийские националисты вышли из лесов, бог его знает, где уж они там прятались, но теперь они несколько возбуждены. Евреи сейчас переживают не лучшие минуты своей жизни». – «Вермахт не вмешивается?» Он отвел глаза: «Приказ свыше, оберштурмфюрер. Население мстит предателям и коллаборационистам, это не наше дело. Внутренний конфликт. Ладно, до скорой встречи». Он скрылся в кабинете, я вышел. Со стороны центра доносились выстрелы, напоминавшие хлопки петард на ярмарке. Я оставил Гёфлера и Поппа в «опеле» и вернулся на центральный бульвар. Под колоннадой царило веселье, двери и окна кафе были распахнуты настежь, люди пили, кричали; несколько раз по пути мне пожали руку; какой-то человек, явно навеселе, угостил шампанским, я залпом осушил бокал, хотел его вернуть, но человек уже исчез. В толпе, как на карнавале, продолжали выплясывать те самые, в театральных костюмах, на некоторых мелькали клоунские, безобразные, гротескные маски. Я пересек парк, за ним начинался Старый город, разительно отличавшийся от бульвара с его австро-венгерским стилем: здесь стояли высокие, узкие дома в духе позднего Ренессанса, с остроконечными крышами, полинявшими фасадами разных цветов, отделанными барочным орнаментом из камня. Прохожие на улицах встречались гораздо реже. В витрине неработающего магазина висел устрашающий плакат: увеличенная фотография трупов и подпись на кириллице, я разобрал только слова «Украина» и «жиды», евреи. Потом набрел на огромную прекрасную церковь, скорее всего католическую, она была заперта, я стучал, но никто не открыл. Ниже по улице сквозь распахнутую дверь слышался звон падающей посуды, грохот, крики; немного поодаль мертвый еврей уткнулся носом в сточную канаву. Небольшие группы вооруженных людей с желто-голубыми повязками беседовали со штатскими; заходили в дома, и вскоре оттуда доносился шум, иногда выстрелы. Вдруг с верхнего этажа вместе с оконной рамой вылетел человек и в дожде битого стекла рухнул мне под ноги, я отпрянул, чтобы не пораниться осколками; отчетливо уловил глухой удар его затылка

о мостовую. Мужчина в рубашке и с фуражкой на голове высунулся из пустого проема; увидев меня, радостно завопил на ломаном немецком: «Господин дойчен офицер, извините! Я вас не заметил». Меня все больше охватывали страх и тревога, я обогнул труп и молча зашагал прочь. Чуть дальше из дверей старой колокольни выскочил человек с бородой в сутане священника и бросился ко мне: «Господин офицер! Господин офицер! Сюда, сюда, я вас прошу». По-немецки он изъяснялся гораздо лучше, чем взломщик окон, но с каким-то странным акцентом. Он почти силой повлек меня к воротам. Я услышал плач, стоны, дикий вой; во дворе церкви группа мужчин дубинками и металлическими прутьями жестоко избивала распластанных на земле евреев. Многие тела лежали неподвижно, другие еще вздрагивали под ударами. «Господин офицер, – умолял священник, – сделайте что-нибудь! Здесь же храм!» Я в нерешительности остановился в воротах; священник продолжал тянуть меня за рукав. Не знаю, о чем я думал. Потом меня заметил украинец и что-то сказал остальным, мотнув головой в мою сторону; те сначала колебались, но потом все же прекратили избиение; священник обрушился на них с упреками, я ничего не понимал. Он обернулся ко мне: «Я сказал, что вы приказали прекратить это. Я сказал, что церкви священны и что они свиньи, а церкви находятся под защитой вермахта, и если они не уйдут добровольно, то их арестуют». – «Но я же тут один», – ответил я. «Не имеет значения», – возразил он и возмущенно выкрикнул еще несколько фраз по-украински. Мужчины неохотно опустили дубинки, среди них нашелся оратор, адресовавший мне страстную тираду, я разобрал только «Сталин», «Галиция», «жиды». Его товарищ плюнул на трупы. Повисла довольно долгая пауза, украинцы медлили; священник снова прикрикнул на них, тогда они оставили евреев, строем поднялись вверх по улице и исчезли, не проронив ни слова. «Спасибо, – поблагодарил священник, – спасибо». Он подбежал к евреям и начал торопливо их осматривать. Двор имел небольшой уклон, в нижней его части к церкви примыкала красивая колоннада под крышей малахитового цвета, отбрасывавшая густую тень. «Помогите мне, – сказал священник, – вон тот еще жив». Он ухватил его под мышки, я взялся за ноги; это был юноша с едва начавшей пробиваться щетиной. Голова его запрокинулась, по кудрявым волосам струилась кровь, крупные блестящие капли падали на каменные плиты. Сердце мое бешено колотилось: я еще никогда не прикасался к умирающему. Нужно было обойти церковь, священник пятился задом, ворча по-немецки: «Сначала большевики, теперь дураки украинцы. Почему ваша армия ничего не предпринимает?» В глубине за огромной аркой открывался двор и вход в церковь. Я помог священнику внести еврея внутрь и устроить его на скамье. Он что-то крикнул; из глубины нефа появились двое таких же бородатых мужчин, но в обычных костюмах. Священник обратился к ним на языке, не похожем ни на украинский, ни на русский, ни на польский. Все трое направились во двор к воротам; двое повернули к евреям, третий пошел по аллее. «Я послал его за доктором», – сказал священник. «А что это за церковь?» – спросил я. Он остановился, внимательно посмотрел на меня: «Армянский собор». – «Разве в Лемберге есть армяне?» – удивился я. Он пожал плечами: «Армяне поселились здесь гораздо раньше немцев или австрийцев». Священник и его друг принесли в церковь еще одного тихо постанывающего еврея. Кровь евреев медленно стекала по наклонным плитам двора вниз к колоннаде. Под арками я разглядел замурованные в стены и в пол надгробия, сплошь покрытые причудливой вязью – без сомнения, армянскими надписями. Я приблизился: кровь заполняла буквы, высеченные на плоских камнях. Я быстро отвернулся: меня мутило и стало тяжело дышать. Я зажег сигарету. Под колоннадой было прохладно. Во дворе в лужах свежей крови, на известняке, на отяжелевших телах евреев, на их черных или коричневых грубых драповых костюмах, пропитавшихся кровью, блестело солнце. Мухи кружили над головами трупов и садились на раны. Священник вернулся: «А мертвые? – приступил он ко мне. – Нельзя оставлять мертвых здесь». Но у меня не возникало ни малейшего желания ему помогать; меня воротило от мысли, что придется дотронуться до какого-нибудь из этих безжизненных тел. Я двинулся к воротам мимо трупов и вышел на улицу. Там было безлюдно, я наугад повернул налево. Через

несколько метров улица заканчивалась тупиком; но справа я обнаружил площадь, в центре которой высилась величественная барочная церковь, украшенная в стиле рококо высоким портиком с колоннами и увенчанная медным куполом. Я поднялся по ступеням и вошел. Огромный, но словно невесомый свод нефа покоился на тонких витых колоннах, сквозь витражи лились потоки дневного света, мягкими отблесками ложившиеся на деревянные позолоченные скульптуры; ряды темных отполированных скамей, сейчас пустовавших, уходили вглубь, к алтарю. Сбоку, в маленьком, беленом зале, я заметил низкую дверь старого дерева, обитую железом, и толкнул ее; каменные ступени спускались в широкий низкий коридор, куда лучи проникали через крохотные окошки. Противоположную стену занимали застекленные шкафы, в которых хранились предметы культа; среди них, как мне показалось, попадались старинные, на редкость тонкой работы. К моему удивлению, в одной витрине были выставлены и предметы иудаики: свитки на иврите, молитвенные покрывала, гравюры, изображавшие евреев в синагоге. Книги на иврите имели оттиски немецких типографий: Lwow, 1884; Lublin, 1853, bei Schmucl Berenstein <sup>7</sup>. Послышались шаги, я поднял голову: ко мне направлялся монах с тонзурой, в белом одеянии доминиканца. Поравнявшись со мной, он остановился и сказал по-немецки: «Здравствуйте, чем могу служить?» – «А что это такое?» – «Вы в монастыре». Я повернулся к шкафам: «Нет, я имею в виду вот эти вещи». – «Наш музей религий. Все это предметы для разных богослужений. Смотрите, если хотите. Обычно мы просим о небольшом пожертвовании, но сегодня посещение бесплатное». Он продолжил свой путь и тихо скрылся за дверью с железными скобами. Там, откуда он появился, коридор поворачивал направо; я оказался во внутренней монастырской галерее, закрытой вставленными между колоннами окнами и окруженной невысокой стеной. Мое внимание привлекла длинная узкая витрина. Маленький прожектор, закрепленный на стене, освещал ее изнутри; я наклонился: два скелета лежали, обнявшись, наполовину присыпанные сухой землей. Тот, что побольше, без сомнения принадлежавший мужчине, хотя рядом с черепом и остались крупные медные серьги, – на спине; другой, видимо, женский, – на боку, свернувшись клубком в его объятиях и положив на его ногу свои. Потрясающая картина, ничего подобного я еще не видел. Мне не удалось прочитать табличку. Сколько веков покоились они, вот так, прижавшись друг к другу? Захоронение, по-видимому, относилось еще к доисторической эпохе; женщину, очевидно, принесли в жертву и закопали в могиле с умершим повелителем; я знал, что в древние времена существовал такой обычай. Но логические умозаключения отступали при виде этой позы – позы людей, утомленных любовью, страстной, полной волнующей нежности. Я вспомнил сестру, у меня сдавило горло; она бы зарыдала, увидев подобное. Я покинул монастырь, никого не встретив, и двинулся на другой конец площади. Моему взору открылась еще одна обширная площадь, в середине ее находилось пристроенное к башне вытянутое здание в обрамлении деревьев. Вокруг теснились домики, украшенные каждый на свой лад и похожие на сказочные. За центральным зданием собралась возмущенная толпа, я постарался пройти мимо, взял левее, обогнул кафедральный собор, осененный каменным крестом, который бережно поддерживали ангел, печальный Моисей с его скрижалями и какой-то задумчивый святой в лохмотьях; крест возвышался над черепом со скрещенными костями; почти такие же красовались на эмблеме моей пилотки. Еще дальше в переулочке выставили столы и стулья. Мне было жарко, я устал, в пивнушке не оказалось ни души, я присел, тут же подошла девушка и обратилась ко мне по-украински. «У вас есть пиво? Пиво?» – по-немецки спросил я. Она покачала головой: «Пива нету». Это я понял. «А кофе? Кава?» – «Да». – «Вода?» – «Да». Она вернулась за стойку и принесла стакан воды, я выпил его залпом. Потом подала кофе, уже с сахаром. Сладкий я не пью. Я зажег сигарету. Девушка снова оказалась возле меня, взглянула на кофе, уточнила, насколько позволял ее немецкий: «Кофе? Не хорошо?» – «Сахар. Нет». – «А!» Она улыбнулась, забрала чашку,

<sup>7</sup> Львов, 1884; Люблин, 1853, [Издано] у Шмуэля Беренштейна (нем.).

принесла другую. Кофе был крепкий, без сахара, я прихлебывал его и курил. Расположенная у подножия собора справа от меня часовня, опоясанная черной лентой барельефов, загорживала вид. Человек в немецкой военной форме огибал ее, изучая вереницу переплетенных скульптур. Он заметил меня и устремился к кафе, я разглядел его погоны, быстро встал и отсалютовал. Он тоже отдал честь. «Добрый день! Так вы – немец?» – «Да, господин гауптман». Он вынул платок, промокнул лоб. «Тем лучше, позвольте, я присяду?» – «Конечно, господин гауптман». Девушка появилась опять. «Вы предпочитаете кофе с сахаром или без? Это все, что у них есть». – «С сахаром, пожалуйста». Я растолковал девушке, чтобы она принесла еще два кофе и сахар на блюде, потом сел на место. Он протянул мне руку: «Ганс Кох. Я из абвера». Я тоже представился. «О, так вы из СД? Действительно, я не обратил внимания на вашу нашивку. Тем лучше, тем лучше». Гауптман производил впечатление человека весьма симпатичного: ему перевалило за пятьдесят, он носил круглые очки и слегка оброс жирком. Я различил у него австрийский, но не венский, акцент. «Вы – австриец, я предполагаю, господин гауптман?» – «Да, из Штирии. А вы?» – «Мой отец родился в Померании, а я в Эльзасе, мы жили то там, то сям». – «Конечно, понятно, понятно. Вы прогуливаетесь?» – «В некотором роде, да». Он кивнул: «А я здесь по случаю собрания. Уже скоро. Тут совсем недалеко». – «Собрания, господин гауптман?» – «Знаете, нас приглашали на культурное мероприятие, но мне кажется, это будет политическое собрание. – Он наклонился ко мне, словно собираясь сделать признание. – Меня направили как эксперта по украинским национальным вопросам». – «А вы – эксперт?» – «Вовсе нет! Я профессор теологии. Я немного разбираюсь в проблеме униатской церкви, и только. Вероятно, меня назначили, потому что я воевал в кайзеровской армии в чине лейтенанта во время Мировой войны <sup>8</sup>, понимаете, они, должно быть, решили, что я специалист по национальному вопросу; но я служил тогда на итальянском фронте и к тому же в администрации. Правда, общался с коллегами хорватами...» – «Вы знаете украинский?» – «Ни единого словечка. Но у меня есть переводчик. Он сейчас на площади, выпивает с типами из ОУН». – «ОУН?» – «Да. Вы разве не знаете, что сегодня утром они захватили власть? Кстати, и радио тоже. И зачитали призыв к восстановлению Украинского государства, если я правильно понял. Вот почему меня обязали идти на собрание. Митрополит, как мне передали, благословит новое государство. Кажется, наши его просили, я точно не знаю». – «Какой митрополит?» – «Униат, кто же еще. Православные нас ненавидят. Они и Сталина ненавидят, но нас сильнее». Я хотел расспросить его подробнее, но не успел: женщина в грязи, почти голая, в разодранных чулках, выскочила с воем из-за церкви; она ринулась в нашу сторону, споткнулась, перевернула один из столиков и с пронзительным визгом упала к нашим ногам. Ее белую кожу покрывали синяки, но кровь почти не текла. За ней спокойно вошли два бравых молодца с повязками на рукаве. Один извинился на плохом немецком: «Простите, Offizieren. Kein Problem» <sup>9</sup>. Другой приподнял женщину за волосы и ударил ее кулаком в живот. Она икнула и затихла, на ее губах выступила пена. Первый залепил ей ногой под зад, и она снова побежала. Они, смеясь, затрусили следом и исчезли за часовней. Кох снял пилотку, в очередной раз вытер лоб, я водрузил на место опрокинутый стол. «Они просто дикари», – сказал я. «О да, я с вами совершенно согласен. Но я полагал, что ваше ведомство одобряет их действия?» – «Меня бы это крайне удивило, господин гауптман. Однако я только что приехал, у меня нет последних данных». Кох продолжал: «В АОК, насколько мне известно, уверены, что СД приказала отпечатать плакаты и всячески разжигать национальную рознь. Они развернули так называемую *Операцию Петлюра*. Слышали о таком украинском лидере? Насколько я помню, его убил еврей. В двадцать шестом или двадцать седьмом». – «И все-таки вы – знаток». – «Я всего лишь прочитал несколько рапортов». Из пивнушки выглянула девушка. Улыбаясь, она знаком показала, что

<sup>8</sup> В описываемое время Мировой (или Великой) войны называли Первую мировую войну.

<sup>9</sup> Нет проблем (нем.).

кофе готов. Местными деньгами я пока не обзавелся. Я покосился на часы: «Извините, господин гауптман. Мне пора идти». – «Да, конечно. – Он потряс мою руку. – Не сдаваться!»

Я выбрал самую короткую дорогу, ведущую из Старого города, и с трудом пробился через торжествующую толпу. В группенштабе царило оживление. Меня приветствовал тот же офицер: «А, опять вы». Наконец, бригадефюрер д-р Раш меня принял. Он встретил меня сердечным рукопожатием, но его лицо оставалось суровым. «Садитесь. Что произошло со штандартенфюрером Блобелем?» Он не надевал фуражки, и его большой выпуклый лоб блестел в свете лампы. Я кратко рассказал про нервное истощение Блобеля: «По мнению врача, кризис спровоцирован лихорадкой и усталостью». Раш скривил толстые губы. «Мне из АОК поступила письменная жалоба на него. Он угрожал офицерам вермахта?» – «Это преувеличение, бригадефюрер, правда, Блобель бредил, вел себя неадекватно. Но это не касалось никого лично и явилось следствием болезни». – «Хорошо». Он уточнил еще некоторые детали, потом дал понять, что беседа закончена. «Штурмбанфюрер фон Радеcki уже возвращается в Луцк, он будет замещать штандартенфюрера, пока тот не поправится. Мы подготовим приказы и другие бумаги. По поводу ночлега обратитесь в администрацию к Гартлю, он вас разместит где-нибудь». Я вышел и отправился на поиски кабинета, где находился начальник Первого управления; его помощник выдал мне деньги. Потом я спустился, чтобы найти Гёфлера и Поппа. И в холле столкнулся с Томасом. «Макс! – Он потрепал меня по плечу, мне стало так радостно. – До чего я рад тебя видеть! Какими судьбами?» Я объяснил. «Ты остаешься до завтра? Прекрасно. Я ужинаю с людьми из абвера в маленьком ресторанчике, надеюсь, неплохо. Составишь компанию? Тебе выделили кровать. Не роскошно, но по меньшей мере чистые простыни обеспечены. Тебе повезло, что ты приехал сегодня. Вчера творился такой кавардак. Красные, отступая, унесли все, что смогли, а украинцы еще до нашего прибытия подгребли остатки. Мы для уборки пригнали евреев, но понадобился не один час, чтобы навести тут порядок, до рассвета не спали». Прежде чем уйти, я предложил встретиться в саду за домом. Попп храпел в «опеле», Гёфлер резался в карты с полицейскими; я коротко их проинформировал и отправился в сад покурить, ожидая Томаса.

Томас – мой близкий приятель, и я по-настоящему обрадовался, увидев его. Мы подружились несколько лет назад; в Берлине часто обедали вместе; иногда он звал меня в ночные кабаки, иногда на концерт. Он любил пожить на широкую ногу и всегда держал нос по ветру. В Россию я попал главным образом из-за него; во всяком случае, по его совету. Хотя на самом деле история началась чуть раньше. Весной 1939-го я защитил диссертацию и вступил в СД, тогда много говорили о войне. После Богемии и Моравии фюрер сосредоточился на Данциге; проблема заключалась в том, чтобы правильно оценить реакцию французов и англичан. Большинство считало, что Франция и Великобритания не рискнут ввязываться в войну за Данциг, как не рискнули это сделать из-за Праги; но обе страны гарантировали Польше безопасность западных границ и теперь спешно вооружались. Мы подолгу обсуждали сложившуюся обстановку с доктором Бестом, моим научным руководителем и в некотором роде наставником в СД. Теоретически, утверждал он, нам нечего бояться войны; война – это логическое завершение Weltanschauung, мировоззрения. Цитируя Гегеля и Юнгера, он аргументированно доказывал, что государство способно достичь пика абсолютного единства только во время и посредством войны: «Если индивидуум сам по себе есть отрицание государства, то война – отрицание этого отрицания. Война – событие, которое, как никакое другое, формирует основы коллективного существования народа, Volk». Но в высших кругах решались проблемы куда более прозаические. В министерстве Риббентропа, в абвере, в нашем департаменте у каждого имелась своя точка зрения на ситуацию. Однажды меня вызвали к шефу, Рейнхарду Гейдриху. Это произошло впервые, и я входил в его кабинет со смешанным чувством радостного возбуждения и страха. Он сосредоточенно работал над целой стопкой документов, и я несколько минут стоял навытяжку, пока он не указал мне на стул. Мне вполне хватило времени разглядеть его. До

тогдашней встречи я, конечно, его уже неоднократно видел, на служебных переговорах или в коридорах Дворца принца Альбрехта; но, если на расстоянии Рейнхард мне казался идеальным воплощением *Übermensch*, сверхчеловека, нордического типа, вблизи он производил странное впечатление, черты его как будто расплывались. Я подумал, что дело здесь в пропорциях: под необычайно высоким и выпуклым лбом рот выглядел слишком большим, а губы для узкого лица были слишком толстые; нервные длинные пальцы напоминали шевелящиеся водоросли, приросшие к ладоням. Когда он посмотрел на меня, я заметил, что его близко посаженные глаза бегают; а когда наконец заговорил, голос его зазвучал неестественно тонко для мужчины столь крупного телосложения. Меня приводила в замешательство женственность, сквозившая в его облике и делавшая его еще более зловещим. Он говорил быстро и кратко, почти никогда не заканчивая предложений, смысл которых оставался, тем не менее, ясным и понятным. «У меня к вам поручение, доктор Ауэ. Рейхсфюрер был недоволен рапортами о намерениях западных держав. Он желал получить иную оценку происходящего, независимую от мнения Министерства иностранных дел. Ни для кого не было секретом, что в этих странах существует достаточно мощное пацифистское движение, даже в недрах националистических и пронацистских кругов; однако степень их влияния на правящие партии определить было трудно. Вы отлично ориентируетесь в Париже, я думаю. Из вашего досье мне известно, что вы входите в круги, близкие к „Аксьон франсез“. Между тем эти люди приобрели значительный авторитет». Я попытался вставить слово, но Гейдрих меня перебил: «Речь идет вот о чем». Он хотел отправить меня в Париж, чтобы там я возобновил все свои старые связи и постарался понять, какой реальный политический вес имеют пацифисты. Я должен всех предупредить, что после учебы уезжаю на каникулы. Разумеется, мне надлежит убеждать всех, кто интересуется данной проблемой, что в отношении Франции национал-социалистическая Германия имеет мирные намерения. «Доктор Хаузер поедет с вами. Но рапорты вы будете писать самостоятельно. Штандартенфюрер Тауберт выдаст вам деньги и необходимые документы. Вам все ясно?» На самом деле я находился в полном замешательстве, и он застал меня врасплох: «*Zu Befehl, группенфюрер*», – все, что я смог ответить. «Отлично. Возвращайтесь в конце июля. Вы свободны, идите».

Я пошел к Томасу. Я радовался, что мы едем вместе: студентом он провел несколько лет во Франции и превосходно знал французский. «Слушай! Ты слишком переживаешь, – начал он сразу, увидев меня. – Радуйся! Тебе поручили задание, миссию, а это что-то да значит». Я внезапно осознал, что и вправду для меня все обернулось удачно. «Вот увидишь, если все получится, то многие двери распахнутся перед нами. Скоро все забурлит, и тот, кто сумеет воспользоваться моментом, сможет неплохо устроиться». Он уже успел посетить Шелленберга, главного советника Гейдриха по иностранным делам; Шелленберг подробно объяснил, что от нас требуется. «Чтобы узнать, кто хочет войны, кто – нет, достаточно читать газеты. Гораздо труднее определить влияние и тех и других. И прежде всего влияние евреев. Фюрер, кажется, совершенно убежден, что они хотят втянуть Германию в новый конфликт; но допустит ли подобное Франция? Вот в чем вопрос». Томас весело рассмеялся: «И потом, в Париже вкусно кормят! И девушки красивые». Наша командировка протекала гладко. Я встретился с друзьями – Робером Бразийаком, он собирался в фургоне путешествовать по Испании с сестрой и Бардешем, ее мужем, Блондом, Ребате и другими – менее известными – старыми приятелями из начальной школы и Свободной школы политических наук. Ночью полупьяный Ребате тащил меня в Латинский квартал и с ученым видом комментировал намалеванные на стенах Сорбонны граффити: *MENE THECEL PHARES*<sup>10</sup>; иногда днем – к невероятно прославившемуся Селину, недавно опубликовавшему второй и очень едкий памфлет; в метро Пулен, друг Бразийака, цитировал мне целые куски: *Между Францией и Германией не существует никакой лютой, непреодолимой ненависти. А вот что существует, так это неустанные, без-*

<sup>10</sup> Исчислено, взвешено, разделено (Дан, 5: 25).

жалостные происки еврейско-британских разжигателей войны, из кожи вон лезущих, чтобы помешать Европе еще раз, как до восьмисот сорок третьего года, выступить единым блоком, образовав франко-германское единство. Весь хитроумный план еврейско-британской коалиции имеет целью усугубить конфликт, стравить нас друг с другом, устроить бойню, из которой мы, конечно, всегда выбираемся, но каждый раз в ужасающей обстановке, так что и французы, и немцы, обескровленные, оказываются целиком и полностью во власти евреев из Сити. Гаксотт и Робер, по версии «Юманите» заключенные в тюрьму, утверждали, что французская политика строится на астрологических прогнозах Трарье д'Эгмона, предсказавшего точную дату Мюнхенского соглашения. Плохим знаком стало решение французского правительства выдворить из страны Абеца и других официальных немецких представителей. Когда спрашивали мое мнение, я говорил: «С тех пор как Версаль очутился на задворках истории, французский вопрос перестал для нас существовать. Никто в Германии не претендует на Эльзас или Лотарингию. Но с Польшей ничего не урегулировано. Мы не понимаем, что заставляет Францию вмешиваться». А французское правительство действительно не желало оставаться в стороне. Те, что не внимали доводам об опасности, исходящей от евреев, ругали Англию: «Они хотят сохранить свою Империю. Со времен Наполеона основная линия их политики – не допустить появления на континенте единой силы». Остальные, наоборот, считали, что Англия скорее старается уклониться от вмешательства, а французский Генеральный штаб жаждет альянса с русскими, чтобы напасть на Германию, пока не поздно. Несмотря на общее воодушевление, мои друзья были настроены пессимистично. «Французские правые плюют против ветра, – поделился со мной как-то вечером Ребате. – Из порядочности». Все мрачно признавали, что рано или поздно война все-таки начнется. Правые проклинали левых и евреев; левые и евреи, конечно же, Германию. Томаса я видел редко. Один раз я привел его в бистро, где встречался с сотрудниками газеты «Же сюи парту»<sup>11</sup>, и представил как университетского друга. «Твой Пилад?» – с издевкой спросил Бразийак по-гречески. «Именно, – парировал Томас тоже на греческом, смягченном венским акцентом. – А он – мой Орест. Остерегайся крепкой дружбы воинов». Томас завязывал контакты в основном в деловых кругах; пока я довольствовался вином и паштетами в мансардах, набитых разгоряченными молодыми людьми, он дегустировал фуагра в лучших ресторанах города. «Тауберт платит, – смеялся он. – Стоит ли отказываться?»

По возвращении в Берлин я отпечатал свой доклад. Мои выводы были пессимистичны, но обоснованны: французские правые силы решительно против войны, но почти не имеют политического веса. Правительство, находящееся под влиянием евреев и британских плутократов, придерживается мнения, что немецкая экспансия, даже оставаясь на своем *естественном* пространстве, Grossraum, угрожает жизненным интересам Франции; правительство вступит в войну не из-за Польши, а защищая собственные гарантии, данные Польше. Я передал донесение Гейдриху и по его просьбе отослал копию Вернеру Бесту. «Вы, безусловно, правы, – сказал мне Бест, – но от вас ждали совсем другого». Я не стал обсуждать свой доклад с Томасом; когда я делился с ним основными выводами, он недовольно скривился: «Ты, правда, так ничего и не понял. Можно подумать, ты явился из французской глубинки». Томас изложил прямо противоположную позицию: французские промышленники противятся войне из-за своих интересов в области экспорта, французские вооруженные силы тоже против; таким образом, французскому правительству остается только смириться с этим. «Но ты же знаешь, что все пойдет иначе», – возразил я. «А кого заботит, что будет дальше? Какое отношение это имеет к тебе или ко мне? Рейхсфюрер хочет одного: уверить фюрера, что можно беспрепятственно, как ему и докладывают, наступать на Польшу. С тем, что произойдет потом, потом и разберутся. – Он покачал головой: – Твой рапорт рейхсфюрер во внимание не примет».

<sup>11</sup> «Же сюи парту» («Je suis partout» – «Я повсюду») – профашистская, антисемитская газета, издававшаяся в 1930–1944 гг.

Томас оказался прав. Гейдрих никак не отреагировал на мое сообщение. Когда месяц спустя армии вермахта захватили Польшу и Франция с Великобританией объявили нам войну, Томас получил назначение в новую, элитарную айнзатцгруппу под командованием Гейдриха, а я остался прозябать в Берлине. Вскоре я понял свою ошибку: я безнадежно запутался в бесконечных цирковых играх национал-социалистов, неверно истолковал неоднозначные намеки руководства и не смог предугадать желание фюрера. Я составил точные заключения, Томас – неправильные; он получил завидное назначение и возможность дальнейшего повышения по службе, меня же выкинули за борт: стоило серьезно задуматься. В течение следующих месяцев я по определенным признакам выявил, что внутри реорганизованной РСХА, с момента неофициального слияния СП и СД, влияние Беста, несмотря на то, что он возглавил два департамента, иссякло; звезда Шелленберга, наоборот, поднималась все выше и выше. Томас, словно бы случайно, с начала года начал посещать именно Шелленберга; у моего друга был особенный талант безошибочно оказываться в нужном месте не в нужный час, а чуть раньше; таким образом, создавалось впечатление, что он всегда там и находился, а смена бюрократической власти только его догоняла. Имей я чуть больше наблюдательности, давно бы это понял. Теперь же я опасался, что мое имя всегда будут связывать с именем Беста и приклеят ярлык бюрократа, узколобого юриста, недостаточно активного, недостаточно твердых убеждений. Мне поручат составлять юридические отчеты, для такой работы постоянно требуются люди, и только. Действительно, через год в июне Вернер Бест подал в отставку и покинул ведомство РСХА, созданию которого содействовал больше, чем кто-либо. В то время я усиленно добивался, чтобы меня отправили во Францию, но получил ответ, что мои услуги больше пригодятся в Министерстве юстиции. Бест, хитрый как лиса, повсюду имел друзей и защитников. Постепенно тематика его статей изменилась: если несколько лет назад он занимался уголовным и конституционным правом, то сейчас его интересовали вопросы международного права и теория Grossraum, которую он, отмежевавшись от Карла Шмитта, развивал вместе с моим бывшим преподавателем, профессором Рейнхардом Хёном и еще несколькими интеллектуалами. Ловко разыграв свои карты, он получил высокий пост в военной администрации во Франции. А меня даже не публиковали.

Томас, приехав в увольнительную, подтвердил диагноз: «Я говорил, что ты совершил глупость. Все, кто чего-то стоят, отправились в Польшу». Сейчас он мне ничем особенно помочь не может, добавил он. Шелленберг – звезда, протезе Гейдриха, и Шелленберг меня не любит и считает ограниченным. Олендорф – другая моя опора, но его положение слишком шаткое, чтобы думать еще и обо мне. Возможно, не помешало бы встретиться с бывшими сотрудниками моего отца. Хотя теперь все немного заняты.

В конце концов, именно благодаря стараниям Томаса мои дела сдвинулись с мертвой точки. После Польши он уехал в Югославию, потом в Грецию, несколько раз его награждали, и вернулся он уже гауптштурмфюрером. Он носил только военную форму, сшитую так же элегантно, как его прежние костюмы. В мае 1941-го он пригласил меня на обед в «Хорхер», знаменитый ресторан на Лютерштрассе. «Я угощаю, – сказал он, лучезарно улыбаясь, заказал шампанского, мы выпили за победу. – Sieg Heil! За прошлые и будущие победы, – прибавил Томас. – Знаешь ли про Россию?» – «Слухи ходят, – отозвался я, – больше ничего». Он опять улыбнулся: «Мы нападаем в следующем месяце», – и подождал, пока новость произведет должный эффект. «Бог мой!» – вырвалось у меня. «Бога нет. Есть Адольф Гитлер, наш фюрер, и непобедимая мощь немецкого Рейха. Мы соберем самую многочисленную за всю историю человечества армию и раздавим их за несколько недель». Мы выпили. «Послушай, – произнес он наконец. – *Шеф* формирует подразделения для сопровождения ударных частей вермахта. Спецподразделения, как в Польше. У меня есть основания полагать, что он положительно воспримет инициативу молодого, талантливого офицера СС добровольно вступить в такую айнзатцгруппу». – «Я уже проявлял инициативу. Насчет Франции. Но мне отказали». – «В этот раз

не откажут». – «А ты поедешь туда?» Он легонько поболтал шампанское в бокале. «Конечно. Я получил назначение в один из группенштабов. Каждый штаб руководит несколькими командами. Я уверен, что и тебя удастся пристроить в какой-нибудь командоштаб». – «А для чего, собственно, нужны эти штабы?» Он усмехнулся: «Я же тебе сказал: специальные операции. Работа СП и СД, безопасность армии в тылу, сбор информации, осведомление и все в таком роде. Держать под прицелом солдат вермахта. Взгляды их немного устарели, в Польше возникли кое-какие сложности, никто не хочет, чтобы подобное повторялось. Не желаешь поразмыслить?» Вас удивит, наверное, что я согласился без колебаний? То, что предлагал Томас, казалось таким разумным и таким интересным. Поставьте себя на мое место. Кто бы в здравом уме вообразил, что юристов вербуют для убийства людей без суда и следствия? Все мне было ясно и понятно, и я, почти не задумываясь, ответил: «Что зря время терять? Я смертельно скучаю в Берлине. Если ты за меня похлопочешь, я с удовольствием поеду». Он снова одарил меня улыбкой: «Я всегда знал, что ты прекрасный парень и на тебя можно положиться. Подожди, мы еще здорово развлечемся». Я радостно засмеялся, мы выпили шампанское. Вот так, и никак не иначе, дьявол ловит в свои сети.

Но в Лемберге я еще всего этого не осознавал. Наступали сумерки, когда Томас отвлек меня от размышлений. Со стороны бульвара до сих пор доносились отдельные выстрелы, но в целом стало гораздо спокойнее. «Ты идешь? Или останешься здесь ворон считать?» – «В чем суть „Операции „Петлюра“?» – спросил я его. «В том, что ты видишь на улице. А откуда такая осведомленность?» Я пропустил его вопрос мимо ушей: «Это вы спровоцировали погром?» – «Мы просто не мешали, скажем так. Отпечатали плакаты. Не думаю, что украинцы нуждались в отмашке с нашей стороны. Ты, кстати, видел объявления ОУН? *Вы встречали Сталина цветами, а мы встретим Гитлера вашими головами.* Они сами это придумали». – «Понимаю. Пойдем пешком?» – «Да, тут совсем недалеко». Ресторан находился на улочке за центральным бульваром. Дверь была закрыта, Томас постучал, дверь приоткрыли, потом распахнули настежь, мы увидели темный зал, освещенный свечами. «Только для немцев», – весело сказал Томас. «А, профессор, добрый вечер». Два офицера абвера уже пришли, кроме них не было ни одного посетителя. Я сразу узнал более внушительного, с которым поздоровался Томас; элегантный, с хорошими манерами, довольно молодой, маленькие черные глазки поблескивали на гладком, круглом, как луна, лице. Волосы у него были несколько длинноваты и с одной стороны взбиты в легкомысленный, не слишком подходящий военному кок. Я тоже пожал ему руку: «Профессор Оберлендер. Приятно встретиться с вами вновь». Он вопросительно посмотрел на меня: «Мы знакомы?» – «Нас представляли друг другу несколько лет назад, после ваших лекций в Берлинском университете. Доктор Рейнхард Хён, мой учитель». – «А, так вы – ученик доктора Хёна! Чудесно!» – «Мой друг доктор Ауэ – восходящая звезда СД», – ловко ввернул Томас. «Я не удивлен, он же – ученик доктора Хёна. Порой кажется, что вся СД прошла через его руки. – Он повернулся к своему спутнику: – Однако я вас еще не познакомил с гауптманом Вебером, моим заместителем». Оба, как я отметил, носили нашивку с соловьем, днем я уже видел такие на рукавах некоторых солдат. «Извините мою непросвещенность, – сказал я, пока все рассаживались, – что означает этот знак?» – «Это эмблема отряда „Нахтигаль“<sup>12</sup>, – ответил Вебер, – специального батальона абвера, набранного из украинских националистов Западной Галиции». – «Этим батальоном командует профессор Оберлендер. Выходит, что мы с ним конкуренты», – вмешался Томас. «Вы преувеличиваете, гауптштурмфюрер». – «Не слишком. Вы поставили на Бандеру, мы – на Мельника и Берлинский комитет». Дискуссия тотчас оживилась. Нам подали вина. «Бандера может быть нам полезен», – подтвердил Оберлендер. «Чем же? – возразил Томас. – Эти типы совершенно лишились тормозов, повсюду разбрасывают прокламации, ни с чем не считаясь. – Он воздел к потолку руки. – *Независимость!* Просто

<sup>12</sup> «Нахтигаль» (Nachtigall) – соловей (нем.).

смешно». – «А вы полагаете, с Мельником лучше?» – «Мельник – разумный человек. Он ищет поддержки в Европе, террор его не интересует. Он – политик и готов на долгосрочное сотрудничество, которое и для нас бы открыло широкие перспективы». – «Возможно, но народ его не слушает». – «Взбесившиеся скоты! Если они не угомонятся, нам придется принять меры». Мы выпили. Вино было хорошее, хотя немного терпкое. «Откуда оно?» – постучал ногтем по своему стакану Вебер. «Наверное, с Карпат», – ответил Томас. «Вам известно, – Оберлендер не хотел уступать и возобновил разговор, – что ОУН два года успешно сопротивлялась советской власти. Не так-то просто их уничтожить. Правильнее установить над ними свой контроль и направить их энергию в нужное русло. По крайней мере Бандеру они послушаются. Он сегодня встречался со Стецько, и все прошло отлично». – «Кто такой Стецько?» – спросил я. Томас ответил, не скрывая иронии: «Ярослав Стецько – новый премьер-министр так называемой независимой Украины, которую мы не признаем». – «Если мы верно разыграем партию, – продолжал Оберлендер, – то быстро собьем с них спесь». Томас взвился: «С кого? С Бандеры? Он – бандит, бандитом и останется. У него душа террориста. Именно поэтому все сумасшедшие фанатики его обожают». Он повернулся ко мне: «Ты представляешь, где абвер откопал Бандеру? В тюрьме!» – «В Варшаве, – с улыбкой уточнил Оберлендер. – Он отбывал наказание за убийство польского министра в тридцать четвертом. Но я ничего плохого здесь не вижу». Томас повернулся к Оберлендеру: «Я просто говорю, что Бандера неуправляем. Вы скоро в этом убедитесь. Он сам фанатик, грезит о Великой Украине от Карпат до Дона. Выдает себя за новое воплощение Дмитрия Донского. Мельник хотя бы реалист. Его многие поддерживают. Все, на кого можно положиться, на его стороне». – «Да, конечно, но только не молодье. И потом, согласитесь, еврейский вопрос его не слишком занимает». Томас пожал плечами: «Здесь можно обойтись и без него. На самом деле исторически ОУН никогда не являлась антисемитской организацией. Лишь благодаря Сталину они изменились в этом отношении». – «Возможно, вы правы, – мягко вступил Вебер. – Но есть и другая причина, кроющаяся в тесной связи евреев и крупных польских землевладельцев». Принесли горячее: жареную утку с яблоками, пюре с тушеной свеклой. Томас разложил всем еду по тарелкам. «Очень вкусно», – воскликнул Вебер. «Да, превосходно», – вторил ему Оберлендер. «Национальная кухня?» – «Да, – принялся объяснять Томас, проглотив очередной кусок. – Утку приготовили с майораном и натерли чесноком. Обычно сначала подают суп из утиной крови, но сегодня они не решились». – «Простите, – вмешался в беседу и я, – а как ваш батальон „Нахтигаль“ вписывается в эту картину?» Оберлендер прекратил жевать и вытер губы, прежде чем ответить: «С ними дело обстоит несколько иначе. Речь здесь о русинском духе, если хотите. Идеологически – а самые старые и по духу – они относятся к национальному военному сословию императорской армии, называвшемуся „Украинские сечевые стрельцы“, что-то вроде казаков. После войны они осели здесь и многие из них воевали с Петлюрой против красных, а в восемнадцатом году и против нас, ОУН их не слишком любит. Они скорее за автономию, чем за полную независимость». – «Как, впрочем, и бульбовцы», – добавил Вебер. Он взглянул на меня: «Разве в Луцке они еще не показывались?» – «При мне нет. Они тоже украинцы?» – «Вольняне, – уточнил Оберлендер, – сами защищали свою территорию, сначала от поляков. С тридцать девятого боролись против советской власти, и в наших интересах поладить с ними. Но мне кажется, они сейчас окопались где-то вблизи Ровно и дальше у Припятских болот». Все принялись за еду. «Мне неясно, – снова заговорил Оберлендер и повел вилкой в нашу сторону, – почему большевики прижимали поляков, а не евреев. С последними, как заметил Вебер, они всегда были заодно». – «Я полагаю, ответ очевиден, – сказал Томас. – В сталинском аппарате решающее слово имеют евреи. Когда большевики оккупировали Украину, то заняли место польских панов и прибегли к уже отработанным приемам, то есть заручились поддержкой евреев, чтобы и дальше угнетать украинское крестьянство, породив тем самым справедливый народный гнев, всплеск которого мы сейчас наблюдаем». Вебер прыснул в стакан; Оберлендер гоготнул: «Справедливый народ»

ный гнев. Я вас умоляю, гауптштурмфюрер». Он глубже уселся в кресло и постукивал ножом по краешку стола. «Для публики сгодится. Для наших союзников и для американцев. Но вы-то знаете не хуже меня, как этот справедливый гнев организован». Томас любезно улыбнулся: «Однако, профессор, есть один положительный момент: население психологически вовлекается в процесс. После они с благодарностью примут вводимые нами меры». – «Надо признать, здесь вы правы». Официантка убирала со стола. «Кофе?» – осведомился Томас. «С удовольствием. Но побыстрее, вечером нас еще ждет работа». Пока несли кофе, Томас предложил нам сигареты. «Что бы там ни случилось, – рассуждал Оберлендер, наклоняясь к зажигалке, протянутой Томасом, – мне очень любопытно, что нас ждет после переправы через Збруч». – «А что?» – поинтересовался Томас, зажигая сигарету Веберу. «Вы читали мою книгу? О перенаселении сельской местности в Польше». – «К сожалению, нет». Оберлендер повернулся ко мне: «А вам доктор Хён, надеюсь, ее рекомендовал». – «Разумеется». – «Хорошо. Итак, если моя теория верна, то в самом центре Украины мы встретим богатое крестьянство». – «Почему?» – спросил Томас. «Как раз благодаря политике Сталина. За двенадцать лет двадцать пять миллионов семейных ферм превратились в двести пятьдесят тысяч крупных сельскохозяйственных предприятий. По моему мнению, раскулачивание и особенно спланированный Голодомор тридцать второго представляли собой попытки найти точку равновесия между посевными площадями, предназначенными для производства продуктов потребления, и населением, эту продукцию потребляющим. У меня есть основания верить, что их план удался». – «А если они просчитались?» – «Тогда у нас получится». Вебер сделал знак, и его спутник торопливо допил кофе. «Meine Herren, – произнес он, поднявшись и щелкнув каблуками, – спасибо за вечер. Сколько мы вам должны?» – «Оставьте, – Томас тоже встал, – вы – наши гости». – «Хорошо, при условии, что в следующий раз приглашаем мы». – «Отлично. В Киеве или в Москве?» Все засмеялись и обменялись рукопожатиями. «Передавайте привет доктору Рашу, – попросил Оберлендер. – Мы с ним часто виделись в Кёнигсберге. Надеюсь, у него найдется время присоединиться к нам как-нибудь вечером». Они ушли, Томас сел: «Хочешь коньяку? Платит подразделение». – «С удовольствием». Томас заказал. «Ты хорошо говоришь по-украински», – заметил я. «О, в Польше я немного выучил польский, а это почти одно и то же». На столе появился коньяк, мы выпили. «Что он там имел в виду насчет погромов?» Томас помолчал, прежде чем ответить. Наконец он решился, но предупредил: «Это останется между нами. Ты уже знаешь, что в Польше у нас возникли трения с армейскими. В частности, по поводу наших специальных операций. Наши методы противоречили моральным принципам этих господ. Они вообразили, что омлет можно приготовить, не разбив яйца. Сейчас приняты меры, чтобы избежать недоразумений: шеф и Шелленберг вели переговоры и заключили четкое соглашение с вермахтом; вам все объяснили в Претче. – Я утвердительно кивнул, и он продолжил: – Мы позаботимся, чтобы они не переменили своего мнения. В погромах имеется огромная польза: вермахт воочию убеждается, какой в тылу воцаряется хаос, если связать руки СС и Sicherheitspolizei – СП. И если и существует для солдата что-то ужаснее бесчестия, как они выражаются, так это беспорядок. Еще три дня, и они придут умолять нас выполнить нашу работу: чисто, незаметно, эффективно и без лишнего шума». – «Оберлендер обо всем догадывается?» – «Его это вообще не волнует. Он просто хочет быть уверенным, что ему и дальше не помешают выстраивать мелкие политические интриги. Но, – добавил он со смешком, – придет время, и его тоже прижмут к ногтю».

«Все-таки странный малый», – подумал я, укладываясь спать. Его цинизм действовал на меня отрезвляюще, но при этом коробил, хотя я понимал, что нельзя судить его лишь по его словам. Я ему полностью доверял: в СД он всегда оставался мне верной поддержкой без всяких просьб с моей стороны, хотя я не мог ничем отплатить ему за помощь. Однажды я заговорил с ним об этом напрямую, и он расхохотался: «Какого ответа ты ждешь? Что я держу тебя про запас для хитрого долгосрочного плана? Ты мне нравишься, вот и все».

Его признание тронуло меня до глубины души, а он поторопился добавить: «И зная твою неповоротливость, я, по крайней мере, уверен, что ты для меня неопасен. Что уже хорошо».

В моем вступлении в СД он сыграл немаловажную роль; собственно, так мы и познакомились; правда, произошло это при обстоятельствах весьма необычных; но не всегда же у нас есть выбор. К тому времени я уже несколько лет входил в сеть тайных агентов СД, работавших в Германии во всех сферах жизни: промышленности, сельском хозяйстве, бюрократическом аппарате, университетах. В 1934-м я приехал в Киль почти без денег и по совету одного из бывших сотрудников отца, доктора Мандельброта, записался в СС, что позволило мне не платить за вступительные экзамены в университет; благодаря их содействию меня тут же приняли. Два года спустя я присутствовал на необычайно любопытной лекции Отто Олендорфа об отклонениях от курса национал-социализма; после лекции меня представил ему мой, а несколькими годами раньше и его, руководитель, профессор экономики доктор Йессен. Оказалось, что Олендорф уже слышал обо мне от своего друга доктора Мандельброта. Он вполне открыто хвалил СД и тут же, не сходя с места, завербовал меня в ее агенты. Работа предстояла нетрудная: от меня требовалось составлять отчеты о том, что говорилось вокруг, о слухах, шутках, отношении людей к распространению национал-социализма. В Берлине, как мне объяснил Олендорф, тысячи таких рапортов сопоставляли, обобщали, и потом СД рассылала полученные данные в разные инстанции Партии, чтобы помочь правильно оценить настроения народа и в соответствии с этим формировать свою политическую линию. В некотором роде такой подход заменял выборы; Олендорф являлся одним из создателей этой системы, которой чрезвычайно гордился. Вначале я действительно загорелся, речь Олендорфа произвела на меня сильное впечатление, и я ликовал при мысли, что вношу личный вклад в строительство национал-социализма. Но в Берлине Хён, мой профессор, весьма умело охладил мой пыл. Прежде в СД его называли духовным отцом Олендорфа и многих других; но потом он поссорился с рейхсфюрером и оставил службу. За короткое время ему удалось убедить меня, что работать на осведомительные или разведывательные службы – романтика чистой воды, и я приносил бы государству гораздо больше пользы на каком-нибудь другом поприще. Я сохранил с Олендорфом нормальные отношения, но больше по поводу СД он со мной не откровенничал; как я узнал позже, у него тоже возникли трения с рейхсфюрером. Я продолжал платить взносы в СС и посещать семинары, но рапорты свои забросил и вскоре перестал даже думать о них. Я сосредоточился на своей диссертации, довольно трудоемкой и скучной; кроме того, я страстно увлекся Кантом, добросовестно изучал Гегеля и философию идеализма; воодушевляемый доктором Хёном, я рассчитывал добиться места в министерстве. Но признаюсь, что меня сдерживало еще кое-что, глубоко личное. Однажды вечером, перечитывая Плутарха, я подчеркнул его слова об Алкивиаде. В Лакедемонне можно было, например, сказать о нем, судя по его наружности: Не сын Ахилла это; это – сам Ахилл, воспитанный Ликургом; на основании же его подлинных склонностей и действий надо было бы сказать: все та же это женщина<sup>13</sup>. Вы усмехнулись или вас перекосило от отвращения – мне безразлично. В то время в Берлине, вопреки усилиям гестапо, при надобности можно было найти все, что пожелаешь. Пользовавшиеся определенной славой кабаки, например «Клейст-казино» или «Силуэт», по-прежнему были открыты, облавы там происходили редко, видимо, они кому-то платили. Кроме того, подобные места существовали в районе Тиргартена, у Нойер-зее перед зоопарком, ночью полицейские туда соваться не осмеливались; за деревьями выжидали *штрихюнген*<sup>14</sup> или молодые мускулистые рабочие из Веддинга. В университете я пару раз находил себе дружков, но такие связи приходилось скрывать, и долго они не длились; а вообще я предпочитал любовников из пролетариев: не за разговорами я к ним обращался.

<sup>13</sup> Плутарх. «Сравнительные жизнеописания». «Алкивиад». XXIII. Перевод Е. Озерецкой.

<sup>14</sup> Штрихюнген (Strichjungen) – парни-проститутки (нем.).

Несмотря на все предосторожности, неприятности у меня все-таки возникли. Следовало быть еще осмотрительнее, да и поводы насторожиться у меня были. Так, Хён с невинным видом предложил мне отрецензировать книгу адвоката Рудольфа Кларе «Гомосексуальность и уголовное право». Этот человек, кстати прекрасно информированный, установил типологию гомосексуальных практик и уже на ее основе предлагал классификацию мер наказания. Он начинал с абстрактного коитуса, или созерцания (уровень 1), переходил к прижатию обнаженного пениса к разным частям тела партнера (уровень 5) и ритмическому трению пениса между коленями, ногами или подмышками партнера (уровень 6) и заканчивал прикосновениями языка к пенису, пенисом во рту и пенисом в анусе (уровни 7, 8, 9). Каждому уровню соответствовало наказание, и строгость его с каждым уровнем возрастала. Кларе, очевидно, когда-то был воспитанником интерната; но Хён утверждал, что Министерство внутренних дел и полиция безопасности воспринимали его идеи всерьез. Я же не нашел в них ничего, кроме повода для смеха. Однажды весенним вечером – в 1937-м – я решил прогуляться к Нойерзее. Я всматривался в сумрак деревьев, пока не пересекся взглядом с молодым парнем; потом достал сигарету, попросил прикурить, вместо того, чтобы наклониться к зажигалке, отодвинул его руку, выкинул сигарету, положил ладонь ему на затылок и поцеловал в губы, наслаждаясь его дыханием. Я следовал за ним, укрываясь в тени деревьев, мы отделились от дорожек парка, сердце мое, как всегда в таких случаях, бешено колотилось в горле и висках; я дышал словно сквозь душную, сухую завесу. Потом я расстегнул ему брюки и уткнулся лицом в его живот, ощущая едкий запах пота, мужского тела, мочи и одеколона, я потерся щекой о его кожу, густые курчавившиеся волосы, член, лизнул его, обхватил губами; не в силах терпеть, я прижал парня к дереву, повернулся, не выпуская его члена из рук, и вводил в себя, пока не перестал чувствовать время и боль. Когда все закончилось, он быстро ушел, не произнеся ни слова. Все еще ощущая блаженство, я прислонился к дереву, привел себя в порядок, закурил и попытался унять дрожь. Как только я опять смог передвигать ноги, я направился к Ландверканалу с тем, чтобы пройти и вернуться к остановке городской железной дороги «Зоо». Я летел, как на крыльях. На мосту Лихтенштейн, облокотившись о перила, стоял человек: я его узнал, у нас были общие знакомые, звали его Ганс П. Он был бледный, растерянный, без галстука; лицо его, казавшееся зеленоватым в тусклом свете уличных фонарей, блестело от пота. Моя эйфория сразу испарилась. «Что вы здесь делаете?» – не слишком дружелюбно подступил я к нему. «А, Ауэ, вы... – В его смехе зазвучали истерические нотки. – Вам надо это знать? – Наша встреча принимала необычный оборот; я замер от удивления, потом кивнул. – Я хотел прыгнуть, – объяснял он, кусая верхнюю губу, – но не решился. Я даже, – продолжал он, распахнув пиджак и показывая рукоятку пистолета, – я даже прихватил с собой это». – «Черт, где вы его нашли?» – спросил я тихо. «У меня отец – офицер. Я у него украл. Пистолет заряжен. – Он с беспокойством посмотрел на меня. – Вы бы не согласились мне помочь?» Я огляделся: вдоль канала, на всем его протяжении, никого не было. Я медленно протянул руку и вытащил пистолет у него из-за пояса. П., как замороженный, следил за мной. Я проверил обойму: полная – и с сухим шелчком вставил ее обратно. Потом левой рукой грубо обхватил П. за шею, толкнул к перилам и прижал дуло к его губам. «Открывай! – рявкнул я. – Открой свой рот! – Сердце мое бешено билось, я думал, что кричу, хотя очень старался не повышать голос. – Открывай! – Он разжал зубы, я засунул ему пушку в рот. – Ты так хотел? Соси!» Ганс П. обмирал от ужаса; я вдруг почувствовал резкий запах мочи, опустил глаза: его брюки намокли. Бешенство, внезапно непостижимым образом овладевшее мной, схлынуло в один миг. Я заткнул ему пистолет за пояс, потрещал по щеке. «Все образуется. Иди домой». Я оставил его, перешел мост и свернул направо. Через несколько метров передо мной словно из-под земли выросли трое полицейских. «Эй, ты! Что ты здесь делаешь? Документы!» – «Я студент. Гуляю». – «Знаем мы эти прогулочки. А тот, на мосту? Наверное, твоя подружка?» Я пожал плечами: «Мы не знакомы. Он сумасшедший, пытался мне угрожать». Они обменялись взглядами, двое потрусили

к мосту; я попытался скрыться, но третий схватил меня за руку. На мосту завязалась возня, слышались крики, выстрелы. Полицейские вернулись, один, смертельно бледный, держался за плечо, между пальцами у него текла кровь. «Скотина. Ранил меня. Но от нас не уйдешь!» Его приятель злобно уставился на меня: «А ты, ты отправишься с нами».

Меня доставили в полицейский участок на углу Дерффлингерштрассе и Курфюрстенштрассе; сонный полицейский забрал мои документы, задал пару вопросов, записал ответы на бланке; потом мне велели сидеть на скамье и ждать. Через два часа меня перевезли в центральный комиссариат Тиргартена. Меня ввели в комнату, где за столом восседал человек плохо выбритый, но в тщательно отглаженном костюме. Он был из крипо – криминальной полиции. «Вы по уши в дерьме, молодой человек. Некто стрелял в полицейского, потом в себя. И кто же он? Вы знакомы? Вас видели с ним на мосту. Что вы там делали?» В участке у меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить, я выбрал самую простую версию: аспирант, люблю гулять по ночам, обдумывая диссертацию; шел от своего дома на Пренцлауэрберг, побродил по улице Унтер-ден-Линден, потом через Тиргартен хотел пройти к станции городской железной дороги и вернуться к себе; переходил мост, и этот парень направился ко мне, что-то пробормотал, я не разобрал, его странный вид напугал меня, я решил, что он мне угрожает, и поспешил уйти, потом я встретил патрульную полицию – шупо, вот, собственно, и все. Он мне задал тот же вопрос, что и полицейские: «Всем известно, что в этих местах происходят встречи определенного характера. Вы уверены, что парень – не ваш дружок? Ссора между любовниками? Полицейские утверждают, что вы разговаривали». Я отрицал, повторил свою историю: аспирант, ну и так далее. Допрос продолжался довольно долго, инспектор напирал, тон его менялся, становился резким и грубым; неоднократно он пытался меня спровоцировать, но я не поддавался, решив, что правильнее всего сохранять спокойствие. Затем мне страшно захотелось в туалет, и, помаявшись некоторое время, я все-таки сказал об этом. Он усмехнулся: «Нет. Сначала разберемся, – и принялся по новой. Потом махнул рукой: – Хорошо, господин адвокат. Присядьте в коридоре. Продолжим позже». Я вышел из кабинета и уселся у входа. Рядом с двумя полицейскими и пьяным, спавшим на банкетке. Лампочка на потолке мигала. Вокруг было тихо и чисто. Я ждал.

Прошло еще несколько часов, наверное, я задремал; окно в коридоре посветлело, занялось утро, вошел человек. Одетый со вкусом, в хорошо сшитом костюме, с накрахмаленным воротничком и в жемчужно-сером шерстяном галстуке; на лацкане пиджака значок Партии, под мышкой портфель из черной кожи. Его густые, черные как смоль волосы были прямо зачесаны назад и блестели от бриллиантина, он увидел меня, лицо его осталось непроницаемым, но глаза смеялись. Он что-то шепотом сказал охранникам; один из них пошел вперед по коридору, показывая дорогу, потом они скрылись за дверью. Вскоре полицейский вернулся и ткнул в меня толстым пальцем: «Ты! Давай сюда». Я встал, потянулся, последовал за ним, еле сдерживая нужду. Полицейский опять привел меня в комнату для допросов. Инспектор-криминалист уже исчез. На его месте сидел изящный молодой человек; одна рука в крахмальном манжете покоилась на столе, другую он небрежно перебросил через спинку стула; черный портфель лежал у его локтя. «Входите, – вежливо, но твердо сказал он; указал мне на стул перед столом: – Садитесь, пожалуйста». Полицейский закрыл дверь, и я сел. Из коридора донесся стук подбитых гвоздями сапог удаляющегося охранника. Элегантный молодой человек говорил с мягкими интонациями, однако я уловил в них и язвительные нотки. «Мой коллега из криминальной полиции Гальбей инкриминирует вам статью сто семьдесят пять. Вы подходите под статью сто семьдесят пять?» Вопрос мне показался вполне закономерным, и я честно ответил: «Нет». – «Я так и думал, – сказал он. Посмотрел на меня и протянул руку через стол: – Меня зовут Томас Хаузер. Рад знакомству». Я наклонился, чтобы пожать ее. Крепкие пальцы, сухая, гладкая кожа, безупречно ухоженные ногти. «Ауэ. Максимилиан Ауэ». – «Да, я в курсе. Вам повезло, господин Ауэ. Комиссар Гальбей уже направил предварительный рапорт

об этом несчастном случае в городскую полицию, указав на вашу предполагаемую причастность к делу. Копию он адресовал советнику уголовной полиции Мейзингеру. Знаете ли вы, кто такой Мейзингер? – «Нет, не знаю». – «Советник уголовной полиции Мейзингер возглавляет центральный департамент Рейха по борьбе с гомосексуализмом и абортами. То есть как раз занимается сто семьдесят пятью. Неприятный тип. Баварец. – Он выдержал паузу. – К счастью для вас, рапорт комиссара Гальбея попал ко мне. Той ночью я дежурил. Я не отправил копию Мейзингеру». – «Очень любезно с вашей стороны». – «Да, именно. Наш друг инспектор-криминалист Гальбей поставил вас под подозрение. Но Мейзингеру подозрения не нужны, его интересуют факты. Существуют методы, позволяющие эти факты получить, их не слишком одобряют в городской полиции, хотя по большей части они очень эффективны». Я замолтал головой: «Послушайте... Я не очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Здесь какое-то недоразумение». Томас слегка прищелкнул языком: «Да, возможно, вы правы, речь пока идет о недоразумении или, скорее, о злополучном совпадении, если пожелаете, наскоро истолкованном ревностным служакой комиссаром Гальбеем». Я придвинулся к столу, развел руками: «Это просто идиотизм. Я студент, член Партии, СС...» Он перебил: «Я знаю, что вы – член Партии и СС. Я близко знаком с профессором Хёном. Я прекрасно знаю, кто вы». Тут я понял: «А, так вы из СД». Томас дружелюбно улыбнулся: «В некотором смысле, да. Вообще-то я работаю с доктором Зиксом, заместителем вашего профессора Хёна. Но в настоящий момент я прикреплен к городской полиции как ассистент доктора Беста, помощника шефа в разработке правовой базы СП». Уже тогда я обратил внимание, что он сделал особое ударение на слове «шеф». «Вы в СД все имеете степень доктора?» – спросил я. Он снова улыбнулся, широко и открыто: «Почти». – «Значит, вы тоже – доктор?» Он кивнул: «Юридических наук». – «Ясно». – «У шефа, наоборот, степени нет. Но он значительно умнее нас всех, вместе взятых. Он использует наши способности для достижения своих целей». – «Каковы же его цели?» Томас нахмурил брови. «Что вы изучали у доктора Хёна? Защиту государства, надо полагать?» Он замолчал. Я тоже притих, мы смотрели друг на друга. Казалось, он чего-то ждал. Он наклонился, оперся подбородком на руку, пальцами другой – с идеальным маникюром – он постукивал по поверхности стола. Потом со скучающим видом задал вопрос: «Вас разве не интересует безопасность государства, господин Ауэ?» Я колебался: «Я не защитил диссертацию...» – «Защита не за горами». Опять на несколько секунд повисло молчание. «Я никак не могу сообразить, к чему вы ведете?» – выдавил я. «Ни к чему, разве только к тому, как вам избежать ненужных неприятностей. Знаете, рапорты, которые вы некогда составляли для СД, не остались незамеченными. Отлично написаны и отражают Weltanschauung, вы концентрировались на главном, образцовая точность ваших отчетов не подлежит сомнению. Жаль, что вы не продолжили, но, впрочем, это ваше дело. Однако, когда я прочитал донесение инспектора криминальной полиции Гальбея, я подумал, что для национал-социализма вы стали бы серьезной потерей. Я позвонил доктору Бесту, разбудил его среди ночи, он согласился со мной и направил сюда, чтобы уговорить инспектора Гальбея не наделаться в спешке глупостей. Вы должны осознать, что открыто уголовное дело, как всегда в случаях смерти человека. К тому же ранение полицейского. Вы предстанете перед судом, по меньшей мере, как свидетель. Поскольку преступление, согласно рапорту, произошло в общеизвестном месте встреч гомосексуалистов, даже если я уговорю комиссара Гальбея умерить свой пыл, рано или поздно дело автоматически передадут на рассмотрение служб Мейзингера. С этого момента он заинтересуется вами и станет рыть, как свойственно тем противным животным, к коим он принадлежит. Каковы бы ни были результаты, в вашем личном деле останутся несмываемые пятна. И не секрет, что рейхсфюрер СС преследует гомосексуализм с особой одержимостью. Гомосексуалисты пугают его, он их ненавидит. Считает, что человек с наследственной гомосексуальной предрасположенностью в состоянии заразить своей болезнью десятки молодых людей, и все они потом будут потеряны для расы. Он полагает, что извращенцы – врожденные лгуны, верящие в собствен-

ную ложь, следствием чего является психическая распущенность, делающая их неспособными к верности и чрезмерно болтливými и, возможно, ведущая к предательству. Таким образом, потенциальная опасность, которую представляет гомосексуалист, из медицинской проблемы, поддающейся терапии, превращается для государства в проблему политическую, излечимую только методами СД. Недавно он пришел в восторг от предложения одного из наших лучших историков права, профессора и унтерштурмфюрера СС Экхардта – вы наверняка его знаете – вернуться к старому германскому обычаю: топить «женоподобных» в торфяниках. Я первый готов признать, что подобная точка зрения – некая крайность, и даже если ход его размышлений трудно оспорить, никто не станет относиться к делу столь категорично. К тому же самого фюрера не особо волнует этот вопрос. Но в то же время отсутствие интереса с его стороны дает рейхсфюреру с его неадекватными идеями полную свободу действий в определении сегодняшней политики. Таким образом, если у Мейзингера сформируется неблагоприятное мнение о вас и даже если он не добьется меры наказания по статьям сто семьдесят пять и сто семьдесят пять-а Уголовного кодекса, на вас обрушатся разного рода неприятности. Я не исключаю, что советник полиции Мейзингер потребует вашего предварительного заключения. Я буду очень огорчен, и доктор Бест тоже». Я слушал его вполуха: мочи не было терпеть, но все-таки я среагировал: «Я не понимаю, куда вы клоните? У вас есть ко мне предложение?» – «Предложение? – Томас приподнял брови. – Да за кого вы нас принимаете? Вы вообразили, что СД прибегает к шантажу для вербовки? Глубоко ошибаетесь. Нет, – дружески улыбнулся он, – я просто пришел помочь вам, как один национал-социалист другому, из духа товарищеской солидарности. Конечно, – продолжил он насмешливо, – мы подозреваем, что профессор Хён настраивает своих студентов против СД, очевидно, он предостерегал и вас, очень жаль. А знаете, ведь именно Хён меня и завербовал. Но он оказался неблагодарным. Хорошо бы вам перестать относиться к нам предвзято. И если однажды наша работа заинтересует вас, доктор Бест будет рад обсудить детали. Приглашаю вас подумать. Но к моему сегодняшнему демаршу это никакого отношения не имеет». Должен признаться, мне импонировала его манера поведения, открытая и непосредственная. Меня впечатляли честность, энергия, спокойная убедительность, которую излучал Томас. Все это совершенно не вязалось со сформировавшимся у меня образом агента СД. Но он уже вставал: «Вы покинете участок со мной. Препятствий не возникнет. Я проинформирую Гальбея, что вы находились в том месте по поручению СД, дело приостановят. В назначенное время вы дадите соответствующие показания. Все уладится, как надо». Я мечтал только об одном – попасть в туалет; мы прервали беседу, Томас терпеливо ждал в коридоре, пока я облегался. Я даже успел подумать и вышел уже с четкими намерениями. На улице день был в разгаре. Томас попрощался со мной на Курфюрстенштрассе и сердечно пожал мне руку: «Я уверен, что мы скоро увидимся. Пока!» Вот так, с задницей, еще полной спермы, я принял решение вступить в службу безопасности.

На следующий день после ужина с Оберлендером я проснулся и пошел к Геннике, командующему группенштабом. «А, оберштурмфюрер Ауэ. Дешети для Луцка почти готовы. Зайдите к бригадефюреру. Он в тюрьме „Бригитки“. Вас проводит унтерштурмфюрер Бек». Бек был еще очень молод, с прекрасной выправкой, но казался каким-то мрачным, словно его душил скрытый гнев. Поздоровавшись, мы обменялись затем от силы парой фраз. Люди на улицах находились в еще большем возбуждении, чем накануне, отряды вооруженных националистов патрулировали город, движение было затруднено. И немецкие солдаты встречались теперь гораздо чаще. «Мне нужно на вокзал, забрать посылку, – сказал Бек. – Это не расстроит ваших планов?» Его шофер уже хорошо ориентировался; чтобы обогнуть толпу, он срезал путь, свернув на поперечную улицу, которая дальше змеилась по невысокому склону вдоль добротных домов тихого, зажиточного квартала. «Красивый город», – заметил я. «Ничего удивительного. Он же по существу немецкий», – возразил Бек. Я замолчал. На вокзале он оставил меня в машине и исчез в толпе. Из трамваев выкатывались пассажиры, их место тут же занимали

другие, и трамвай отъезжал. Слева, в небольшом скверике, равнодушные к общей суматохе, отдыхали под деревьями грязные, смуглолицые, в пестрых одеждах цыгане. Некоторые из них околачивались у вокзала, но не попрошайничали; даже дети не играли, не резвились. Бек вернулся с маленьким свертком. Он проследил за моим взглядом и увидел цыган: «Вместо того чтобы терять время на евреев, лучше бы занялись этими, – тон его был желчным. – Цыгане более опасны. Они работают на красных, вы в курсе? Ну ничего, они свое получают». Когда мы выехали на длинную улицу, поднимавшуюся от вокзала, Бек снова заговорил: «Здесь находится синагога, я хотел бы взглянуть. А потом поедem в тюрьму». Синагога стояла немного в стороне на боковой улочке, слева от широкого проспекта, ведущего в центр города. Двое немецких солдат охраняли вход. Обшарпанный фасад выглядел непривлекательно; только звезда Давида на фронтоне указывала на назначение здания; поблизости не видно было ни одного еврея. Я прошел за Бекom внутрь через низкую дверь. Просторное центральное помещение, высотой в два этажа, наверху опоясывала галерея, без сомнения, отведенная для женщин; стены украшали прекрасные росписи, наивные и очень выразительные: огромного, кое-где поврежденного пулями иудейского льва окружали шестиконечные звезды, попугаи и ласточки. Вместо скамей стояли стульчики с прикрепленными к ним школьными попитрами. Бек долго пялился на росписи, потом вышел. На улице перед тюрьмой собралась толпа, царила невообразимая сутолока. Люди надрывались до хрипоты, женщины истерично рвали на себе одежду и катались по земле; под охраной фельджандармов евреи ползали на коленях и терли тротуар; время от времени кто-нибудь подскакивал к ним и бил ногой, багровый фельдфебель орал: «Juden, karutt!», украинцы восторженно аплодировали. У ворот тюрьмы я пропустил колонну евреев, кто был в рубахе, кто раздет по пояс, многие истекали кровью, под конвоем немецких солдат они несли и грузили на тележки разлагающиеся трупы. Старухи в черном с воплями бросались на тела, потом подскакивали к евреям, вцеплялись в них ногтями, так что один солдат даже пытался их отгонять. Я потерял Бека из виду и сам отправился во двор тюрьмы. Там разворачивался тот же спектакль: обезумевшие от ужаса евреи разбирали трупы, оттирали мостовую под улюлюканье своих надзирателей; некоторые солдаты кидались вперед, били евреев и голыми руками, и прикладами, евреи с воплями падали, как подкошенные, силились встать и продолжить работу; другие солдаты фотографировали, третьи веселились, выкрикивали ругательства, науськивали; если какой-нибудь еврей не мог встать, его принимались пинать сапогами, потом один или два еврея за ноги отволакивали неподвижное тело в сторону, остальные продолжали тереть мостовую. Я наконец нашел какого-то эсэсовца: «Вы не знаете, где найти бригадефюрера Раша?» – «Думаю, Раш где-то в кабинете в самой тюрьме, пройдите туда, я только что видел, как он поднимался по лестнице». В длинном коридоре, по которому туда-сюда сновали солдаты, было потише, но грязные блестяще-зеленые стены были забрызганы свежей и засохшей кровью, ошметками мозга с прилипшими к ним волосами и осколками костей, на полу от трупов, которые по нему тащили, образовались две широкие колеи, так что под ногами хлюпало. По лестнице в конце коридора спускался Раш, сопровождаемый рослым румяным оберфюрером и офицерами айнзатцгруппы. Я приветствовал его. «А, это вы! Хорошо. Я получил рапорт фон Радечки; передайте ему, пусть приезжает сюда, если выпадет возможность. А вы представьте обергруппенфюреру Йекельну личный отчет о нашей *акции*. Обязательно подчеркните тот факт, что именно националисты и народ проявили инициативу. НКВД и евреи расстреляли в Лемберге три тысячи человек. Теперь народ мстит, что вполне естественно. Мы просили АОК дать им несколько дней». – «Zu Befehl, бригадефюрер». Я пошел за ними во двор. Раш и оберфюрер что-то оживленно обсуждали. Во дворе к вони разлагающихся трупов примешивался тяжелый тошнотворный запах свежей крови. Выйдя за ворота, я увидел двух евреев, которых под конвоем гнали вверх по улице; один из них, совсем еще юноша, трясся в беззвучных рыданиях. Бек ждал у машины, мы повернули к группенштабу. Я приказал Гёфлеру проверить «опель», разыскать Поппа, забрать у начальника III управления депеши и письмо. Я спросил

еще, где Томас, мне хотелось попрощаться с ним перед обратной дорогой: «Он наверняка где-то в районе бульвара, – подсказали мне. – Поищите его в кафе „Метрополь“, на Сикстусской». Внизу стояли уже готовые к отъезду Попп и Гёфлер. «Трогаемся, оберштурмфюрер?» – «Да, но по пути остановимся, возьми через бульвар». Я легко нашел «Метрополь». Внутри спорили шумные компании, горланили пьяные; у стойки бара офицеры рольбана пили пиво и комментировали события. Томас сидел в глубине кафе со светловолосым парнем в штатском, лицо у парня было опухшее и мрачное. Они пили кофе. «Макс, привет! Вот, представляю тебе Олега, человека очень образованного и очень умного». Олег встал, крепко пожал мне руку; на самом деле выглядел он как настоящий придурок. «Слушай, я уезжаю». Томас ответил мне по-французски: «Отлично. В любом случае мы скоро встретимся: по плану штаб твоего подразделения остановится вместе с нами в Житомире». – «Замечательно». Он перешел на немецкий: «Держись! Не падай духом». Я кивнул Олегу и покинул кафе. Наши войска располагались далеко от Житомира, но, похоже, Томас имел достоверные сведения. Возвращаясь, я наслаждался мягкими пейзажами Галиции; мы медленно ползли вперед, в пыли колонн грузовиков и военной техники, следующей на фронт; время от времени солнечные лучи пронзали длинные ряды белых облаков, плывших по небу – своду с движущимися тенями, радостному и безмятежному.

До Луцка я добрался после полудня. По словам фон Радецки, Блобеля, наверное, задержат надолго; Гёфнер сообщил нам строго конфиденциально, что Блобеля в конце концов определили в психдиспансер вермахта. Карательная операция прошла успешно, но никто не имел особого желания вдаваться в подробности: «Считайте, вам крупно повезло, что вы отсутствовали», – шепнул мне Цорн. Шестого июля зондеркоманда, продвигаясь след в след за наступающей 6-й армией, перебралась в Ровно, потом в короткие сроки в Звягель, который большевики называли Новоград-Волынский. На каждом этапе штаб откомандировывал отряд для выявления, задержания и уничтожения потенциального врага. В основном дело касалось евреев, но мы расстреливали и комиссаров, и членов партии большевиков, если таковые попадались, и воров, и мародеров, и крестьян, прятавших зерно, а также цыган – Бек был бы доволен. Фон Радецки объяснил, что нам не следует забывать об объективной опасности: разоблачать каждого подозреваемого по отдельности – невыполнимая задача, надо выявлять социально-политические признаки всех, кто способен нам навредить, и принимать соответствующие меры. В Лемберге новый начальник гарнизона генерал Ренц постепенно восстановил порядок и прекратил бесчинства; с тех пор 6-я, а затем сменившая ее 5-я айнзатцкоманда расстреливала сотни задержанных за городом. У нас начались проблемы с украинцами. Девятого июля короткий эксперимент с независимостью резко закончился: СП арестовала и под конвоем отправила в Краков Бандеру и Стецько и обезоружила их людей. Тогда же взбунтовалась и ОУН-Б; в Дрогобыче они открыли огонь по нашим солдатам и убили множество немцев. После этого партизаны-бандеровцы тоже стали представлять *объективную опасность*; обрадованные соратники Мельника помогали нам их отлавливать и взяли под контроль местные органы управления. Одиннадцатого июля группенштаб, которому мы подчинялись, соединившись со штабом, входившим в состав военных объединений «Центр», поменял наименование: теперь наша айнзатцгруппа называлась «Ц»; в тот же день три наших «опель-адмирала» въехали в Житомир с танками 6-й армии. Несколькими днями позже туда направили и меня для укрепления форманды, пока не подтянется оставшаяся часть штаба командования.

После Звягеля пейзажи совершенно изменились. Теперь перед нами простиралась украинская степь, необозримое, волнующееся на ветру пространство, занятое посевами. На пшеничных полях уже отцвели маки, ячмень и рожь дозревали, бесконечными километрами тянулись подсолнухи, поворачивающие за солнцем свои золотые короны. Бесконечную, однообразную картину нарушали разбросанные то тут, то там, словно случайно, хаты, утопающие в тени акаций или кленов, ясеней, дубовых рощиц. Вдоль дорог росли липы, по берегам рек – ивы и осины, бульвары в городах были обсажены каштанами. Наши карты никуда не годились:

указанные на них дороги не существовали вовсе или давно пришли в негодность; и наоборот – там, где на картах значилась дикая степь, наши патрули обнаруживали колхозы, огромные поля хлопка, арбузов, свеклы; крошечные населенные пункты оказывались развитыми промышленными центрами. Если Галиция досталась нам, можно сказать, в целостности и сохранности, то здесь Красная Армия, отступая, методично уничтожала что могла. Деревни и посевы горели, мы натывались на взорванные или заваленные колодцы, заминированные дороги, здания, начиненные взрывчаткой; в колхозах остались женщины, скот, птица, но мужчины и лошади исчезли; в Житомире они сожгли все, что успели, к счастью, среди дымящихся руин возвышалось достаточно много уцелевших домов. Город находился под контролем венгров, Кальсен кипел от гнева: «Их офицеры вполне благожелательно относились к евреям, даже ужинали у них!» Бор, другой офицер, добавлял: «Похоже, некоторые из этих офицеров сами евреи. Вы понимаете? Союзники Германии! Да я им руки не подам». Жители встретили нас хорошо, но сетовали на вторжение венгерских частей – Гонведа – на украинскую территорию: «Немцы – наши давние друзья, – говорили они, – а мадьяры только и мечтают нас захватить». Подобные вспышки недовольства ежедневно оборачивались мелкими неприятностями. Группа саперов убила двух венгров, пришлось отправлять кого-то из наших генералов приносить извинения. С другой стороны, гонвед блокировал работу наших полицейских, форкоманда через группенштаб подала жалобу в Верховное командование группы армий «Юг». Наконец, пятнадцатого июля венгров отозвали, АОК 6 и следовавшие за ним наше подразделение и весь группенштаб «Ц» заняли Житомир. Между тем меня как связного офицера отослали в Звягель. За каждой тайлькомандой, подчинявшейся Кальсену, Гансу и Янсону, закрепили сектор действий, они лучами расходились в разных направлениях почти до самого фронта, достигая Киева; на юге наша зона пересекалась с зоной 5-й айнзатцкоманды, и надо было скоординировать наши действия, потому что каждое подразделение тайлькоманды функционировало самостоятельно. Вот почему мы с Янсоном оказались между Звягелем и Ровно, на границе Галиции. Короткие летние грозы все чаще оборачивались затяжными дождями, превращающими лёссовую пыль, легкую, как мука, в липкую жижу, жирную, черную, на местном наречии ее называли *буна*. В результате образовывались огромные болотистые участки, где медленно разлагались трупы людей и лошадей, брошенные на полях сражений. Солдаты страдали непрекращающейся диареей, заражались вшами; даже грузовики увязали в этой грязи, продолжать движение становилось все труднее. Мы вербовали украинских пособников, и наши солдаты, служившие раньше в Африке, окрестили их аскарисами; им платили через местные муниципалитеты и еще тем, что конфисковали у евреев. Большинство из них были бульбовцами (по имени их героя Тараса Бульбы), теми самыми волынскими экстремистами, о которых рассказывал Оберлендер. После ликвидации ОУН-Б им предложили выбор: немецкая униформа или лагерь; большинству из них удалось раствориться среди местного населения, но некоторые пришли наниматься к нам. Зато дальше на север, между Пинском, Мозырем и Олевском, вермахт разрешил провозглашение «украинской республики» «Полесская Сечь» во главе с неким Тарасом Боровцом, взявшим себе псевдоним «Бульба», ему в свое время принадлежал карьер в Костополе, национализированный большевиками. Боровец преследовал разобщенные отряды Красной Армии и польских партизан, обеспечивая нашим войскам свободное продвижение, взамен мы его не трогали; но айнзатцгруппа опасалась, что Боровец покрывает враждебные элементы ОУН-Б (ОУН-бандеровцев), в шутку мы их звали «ОУН-большевики» в противоположность «меньшевикам» Мельника (ОУН-М). Еще мы вербовали фольксдойче из местных общин, чтобы они служили бургомистрами или полицейскими. Почти повсеместно евреев сгоняли на принудительные работы, а тех, кто не работал, расстреливали. Но на украинской стороне Збруча наши действия зачастую оказывались неэффективными из-за безразличия населения, не выдававшего евреев: те сразу воспользовались ситуацией, нелегально переезжали в северные области и прятались в лесах. Бригадефюрер Раш как-то перед казнью приказал евреям маршировать

строим перед толпой, чтобы развеять сложившийся у украинских крестьян миф о политическом могуществе жидов. Но такие меры особого успеха не имели.

Однажды утром Янсен предложил мне присутствовать на операции. Я знал, что рано или поздно подобное случится, и много об этом размышлял. Могу сказать со всей искренностью, что наши методы вызывали у меня недоумение: их логику я понимал плохо. Я говорил с заключенными евреями, заверявшими меня, что для них издавна зло шло с востока, а добро с запада; в 1918-м они принимали наших солдат как освободителей и спасителей, те в свою очередь вели себя очень гуманно; после ухода немцев вернулись украинцы-петлюровцы и принялись снова убивать евреев. Большевистская власть морила народ голодом. Теперь убиваем мы. Действительно, тут не поспоришь, убивали мы много. Я считал происходящее большой бедой, даже если оно и было неизбежно и необходимо. Но беде надо уметь противостоять; надо быть готовым лицом к лицу встретить неизбежность и необходимость и потом еще принять все вытекающие из них последствия; закрывать на них глаза – значит никогда не найти ответа. Я принял приглашение Янсена. Операцией руководил унтерштурмфюрер Нагель, его помощник, с которым мы вместе выехали из Звягеля. Накануне прошел дождь, но дороги не развезло, мы потихоньку двигались между двумя высокими, залитыми светом стенами деревьев, закрывавших от нас поля. Городишко, я забыл его название, находился на берегу широкой реки, совсем недалеко от бывшей советской границы; население было смешанное, в одной стороне жили крестьяне-галичане, в другой – евреи. К нашему приезду уже развернули оцепление. Нагель показал мне лес за городком: «Там все и происходит». Он, похоже, нервничал, дергался, наверное, тоже никого еще не убивал. Наши аскарисы собирали евреев, и старых, и молодых, на центральной площади; гнали их маленькими группками с еврейских улочек, иногда били, потом заставляли садиться на корточки и ждать под охраной военной полиции. Группки сопровождали несколько немцев, один из них, Гнаука, подгонял евреев, стегая их плетью. Если бы не крики, то все казалось бы относительно спокойным и упорядоченным. Зевак разогнали; время от времени какой-нибудь ребенок выбегал на угол площади посмотреть на сидящих на корточках евреев и тут же исчезал. «Я думаю, понадобится еще с полчаса», – сказал Нагель. «Могу я пройти?» – спросил я. «Да, конечно. Но возьмите с собой хотя бы вашего ординарца». Он имел в виду Поппа, который с Лемберга со мной не разлучался, заботился о жилье, варил кофе, чистил сапоги и стирал форму; его не приходилось даже ни о чем просить. Я направился мимо маленьких галицийских ферм к реке; Попп с винтовкой на плече следовал в нескольких шагах за мной. Дома были длинные, низкие, двери плотно закрыты, и кругом ни души. Перед деревянными воротами, окрашенными в грязно-голубой цвет, оглушительно гогоча, топтались гуси, штук тридцать, наверное. Я миновал последние дома и спустился к реке, но берега размыло, пришлось подняться повыше; вдалеке я заметил лес. В воздухе раздавалось пронзительное, надоедливое кваканье разморенных жарой лягушек. Выше, в размокшем поле, среди луж, в которых отражалось солнце, около дюжины жирных гусей гордо вышагивали друг за другом, за ними двигался какой-то перепуганный теленок. Мне уже приходилось видеть украинские городишки, по сравнению с этим они были нищими и убогими; я стал опасаться, как бы в теориях Оберлендера не образовалась серьезная брешь. Я повернул обратно. Перед голубыми воротами все так же терпеливо стояли гуси и смотрели на корову, ее глаза, сплошь облепленные мухами, сильно слезились. На площади аскарисы криками и ударами шомполов загоняли евреев в грузовики, хотя евреи и не сопротивлялись. Прямо передо мной двое украинцев тащили старика с деревянной ногой, протез отстегнулся, но они без колебаний грубо швырнули старика в кузов. Нагель куда-то отлучился, я поймал аскариса и указал ему на деревянную ногу: «Положи в кузов». Украинец пожал плечами, поднял протез и бросил старику. В каждый грузовик помещалось около тридцати евреев, общее их количество приближалось к ста пятидесяти, но нам выделили всего три грузовика, поэтому один и тот же маршрут предстояло проделать дважды. Когда грузовики заполнились, Нагель велел мне садиться в

«опель» и повернул к лесу, грузовики следом за нами. На опушке уже выстроили оцепление. Евреи вылезли из грузовиков, Нагель приказал определить среди них тех, кто пойдет копать; остальные должны были ждать здесь. Гауптшарфюрер произвел отбор, раздали лопаты; Нагель организовал конвой, и группу повели в лес. Грузовики отправились за следующей партией. Я разглядывал евреев – те, что были ко мне поближе, казались бледными, но спокойными. Нагель приблизился и принялся торопливо убеждать меня, показывая на евреев: «Такова необходимость, вы понимаете? Здесь не следует принимать в расчет человеческое страдание». – «Да, но, тем не менее, какую-то роль оно все равно играет». Как раз этого я и не мог постичь: пропасть, полное несоответствие между тем, как легко убивать и как тяжело умирать. У нас выдался всего лишь очередной гнусный день; для них он был последним.

Из леса стали доноситься крики. «В чем дело?» – всполошился Нагель. «Я не знаю, унтерштурмфюрер, – отвечал унтер-офицер, – сейчас выясню». Он скрылся за деревьями. Некоторые евреи ходили взад-вперед, еле передвигая ноги, уставившись в землю, в гнетущем молчании людей, ожидающих неминуемой смерти. Подросток, присев на корточки, напевал какую-то считалку и с любопытством посматривал на меня, потом приложил два пальца к губам; я дал ему сигарету и спички; он поблагодарил меня улыбкой. Унтер-офицер появился у кромки леса, крикнул: «Они нашли братскую могилу, герр унтерштурмфюрер». – «Что еще за братская могила?» Нагель ринулся в лес, я за ним. Под деревом гауптшарфюрер хлестал по щекам еврея с криками: «Ты знал, скотина! Почему ты нам не сказал?» – «Что здесь происходит?» – спросил Нагель. Гауптшарфюрер оставил еврея и ответил: «Полюбуйтесь, унтерштурмфюрер! Они наткнулись на большевистскую могилу». Я подошел к траншее, вырытой евреями; на дне лежали покрывшиеся плесенью, скрюченные, почти мумифицированные тела. «Их, видимо, расстреляли зимой, – предположил я, – поэтому они и не сгнили». Солдат на дне ямы выпрямился: «Похоже, им стреляли в затылок, унтерштурмфюрер. Это почерк НКВД». Нагель подошел толмача: «Распросите, что произошло». Тот перевел, еврей ответил. «Он сказал, что большевики арестовали почти всех мужчин в деревне, но никто не знал, что их здесь и похоронили». – «Да уж, не знали эти мерзавцы, как же! – взорвался гауптшарфюрер. – Они сами и убивали, вот что». – «Гауптшарфюрер, успокойтесь. Пусть засыпают могилу и роют в другом месте. Пометьте участок, на случай, если потребуется провести расследование». Мы вернулись к оцеплению; грузовики доставили остальных евреев. Через двадцать минут к нам подбежал багровый гауптшарфюрер: «Опять могила, унтерштурмфюрер. Просто невозможно, весь лес заполнен трупами». Нагель устроил небольшое совещание. «В лесу не так уж много полян, – сообразил унтер-офицер, – поэтому мы роем там же, где они». Пока они рассуждали, я успел обратить внимание на то, что мне в пальцы почти под ногти впились длинные, очень тонкие занозы; пощупав кожу, я обнаружил, что занозы доходили до второй фаланги, но сидели совсем неглубоко. Поразительно. Как они туда попали? Я даже и не почувствовал. Я начал вытаскивать их, одну за одной, как можно осторожнее, чтобы не пошла кровь. К счастью, они поддавались довольно легко. Нагель тем временем принял решение: «Попробуем в другой части леса, пониже». – «Я подожду вас здесь», – сказал я. «Отлично, оберштурмфюрер. Я потом пришлю кого-нибудь за вами». Я принялся сосредоточенно сгибать и разгибать пальцы: вроде все было в порядке. Я зашагал прочь от оцепления по небольшому склону, покрытому дикими травами и почти засохшими цветами. Ниже расстилалось поле пшеницы, вместо пугала торчал шест с прибитой за лапы, раскинувшей крылья вороной. Я лег в траву, посмотрел на небо. Потом закрыл глаза.

Меня нашел Попп. «Все почти готово, оберштурмфюрер». Оцепление и евреи переместились вниз. Приговоренные маленькими группками терпеливо стояли под деревьями, некоторые прислонились к стволам. Дальше, в лесу, ждал Нагель со своими украинцами. Несколько евреев выбрасывали лопатами землю со дна многометровой траншеи. Я наклонился: яму наполняла вода, евреи рыли, стоя по колено в грязной воде. «Это не могила, а бассейн», – сухо

сказал я Нагелю. Мое замечание его разозлило: «И что мне, по-вашему, делать, оберштурмфюрер? Теперь вот наткнулись на грунтовые воды, которые поднимаются по мере того, как они роют. Мы слишком близко от реки. Но я, представьте, не хочу торчать весь день в лесу, роая ямы». Он повернулся к гауптшарфюреру. «Все, достаточно. Ведите их». Лицо его было мертвенно-бледным. «Ваши стрелки готовы?» – спросил он. Я уже понял, что расстреливать прикажут украинцам. «Так точно, унтерштурмфюрер», – ответил гауптшарфюрер, повернулся к переводчику и объяснил последовательность действий. Тот перевел украинцам. Двадцать из них выстроились в ряд перед траншеей; пятеро других схватили копавших евреев, сплошь покрытых грязью, поставили на колени, спинами к стрелкам. По приказу гауптшарфюрера аскарисы вскинули на плечо карабины и прицелились евреям в затылок. Но расчет оказался неверным, на каждого еврея полагалось два стрелка, а рыли пятнадцать. Гауптшарфюрер всех пересчитал, велел украинцам опустить ружья, пятерых евреев отогнали в сторону, ждать своей очереди. Большинство евреев вполголоса что-то бормотали, вероятно, молитвы, кроме этого никто из них не произнес ни слова. «Лучше добавить еще аскарисов, – вставил второй унтер-офицер. – Быстрее бы получилось». Последовала короткая дискуссия; украинцев всего двадцать пять, надо к ним присоединить еще пять человек из оцепления, – предлагал унтер-офицер; гауптшарфюрер утверждал, что оцепление разбивать нельзя. Нагель, окончательно выведенный из себя, отрезал: «Исполнять по-прежнему». Гауптшарфюрер рявкнул на аскарисов, те снова подняли винтовки. Нагель шагнул вперед. «Слушай мою команду... – Голос изменил ему, он сделал усилие, чтобы снова взять себя в руки. – Огонь!» Прогремел залп, я только увидел за пеленой дыма какие-то красные всполохи. Убитые полетели на дно, лицом в грязь; два скрюченных тела остались на краю ямы. «Уберите все и ведите следующих», – приказал Нагель. Украинцы взяли двух мертвых евреев за руки и ноги, раскачали и скинули в яму, те с громким плеском упали в воду; кровь потоком текла из их разможенных голов и забрызгала сапоги и зеленую форму украинцев. Двое подошли с лопатами и принялись сбрасывать комья окровавленной земли и белесые куски мозга в ров к мертвецам. Я тоже приблизился: покойники плавали в грязи, кто на животе, кто на спине, с торчащими сверху носами и бородами; кровь из ран покрывала поверхность воды, словно тонкий слой растительного масла ярко-красного цвета, красными стали их белые рубахи, по коже и волосам текли красные струйки. Привели вторую группу – пятерых из тех, что копали, и пятерых из ждавших у леса, их поставили на колени, лицом к могиле, к плавающим трупам их соседей; один вдруг повернулся к стрелкам, поднял голову и молча посмотрел на них. Я думал об этих украинцах: как они только дошли до такого? Многие из них воевали против поляков, потом против большевиков, они ведь должны были бы мечтать о лучшем, мирном будущем для себя и своих детей, и вот теперь они посреди леса, надев чужую военную форму, без какой-либо доступной их пониманию причины убивают людей, которые ничего им не сделали. Что они сами-то, интересно, думали об этом? Так или иначе, услышав приказ, они стреляли, они скидывали трупы в яму, приводили следующих и не протестовали. Что они будут думать об этом позже? Оружейный залп. Со дна ямы донеслись стоны. «Проклятье, они не все подошли!» – выругался гауптшарфюрер. «Ну так прикончите их!» – заорал Нагель. По приказу гауптшарфюрера двое аскарисов встали на краю и выпустили обоймы по телам. Вопли продолжались. Аскарисы выпустили еще по обойме. Рядом уже расчищали край рва. Привели еще десять евреев. Я заметил Поппа: он зачерпнул целую пригоршню земли из большой кучи возле рва, изучал ее, разминал между пальцами, нюхал и даже попробовал на зуб. «Попп, что такое?» Он подошел ко мне. «Посмотрите на эту землю, оберштурмфюрер. Прекрасная земля. Совсем неплохо поселиться здесь». Евреи опустились на колени. «Выкини сейчас же, Попп», – сказал я ему. «Нам обещали, что после мы сможем обосноваться здесь, построить фермы. Я думаю, какое отличное место, вот и все». – «Попп, заткнись!» Аскарисы дали очередной залп. Снова из ямы понеслись душераздирающие крики и стоны. «Пожалуйста, господа немцы! Умоляем!» Гауптшарфюрер велел сделать кон-

трольные выстрелы, но крики не прекратились, слышно было, как люди барахтались в воде. Нагель орал: «Ваши болваны стрелять не умеют! Пусть лезут в яму!» – «Но, герр унтерштурмфюрер...» – «Прикажите им спуститься!» Гауптшарфюрер передал через переводчика приказ. Украинцы принялись что-то возбужденно говорить. «Ну что они?» – спросил Нагель. «Они не хотят спускаться, герр унтерштурмфюрер, – объяснил переводчик. – Они считают, что в этом нет нужды, они могут стрелять с края». Нагель побагровел. «Быстро вниз!» Гауптшарфюрер схватил одного из них за руку и поволок к яме; украинец сопротивлялся. Теперь кричали все – и по-немецки, и по-украински. Чуть вдалеке ждала следующая группа. В бешенстве аскарис бросил винтовку на землю и спрыгнул в яму, поскользнулся, упал среди убитых и агонизирующих. Его товарищ полез следом и, цепляясь за край, помог ему встать. Украинец, весь в грязи и крови, ругался и отплевывался. Гауптшарфюрер протянул ему винтовку. Слева внезапно раздались выстрелы и крики; конвоиры палили в сторону леса: один еврей, воспользовавшись общей суматохой, удрал. «Вы попали в него?» – крикнул Нагель. «Не знаю, герр унтерштурмфюрер», – отвечал издали полицейский. «Ну так бегите, посмотрите!» С противоположной стороны два других еврея тоже вдруг побежали, и солдаты из оцепления снова стали стрелять: один рухнул сразу, второй исчез в глубине леса. Нагель выхватил пистолет и размахивал им направо, налево, выкрикивая противоречивые приказы. В яме аскарис пытался приставить винтовку ко лбу раненого еврея, но тот уворачивался, прятал голову под воду. Украинец все же выстрелил наугад, пуля разнесла еврею челюсть, но так и не убила его, он бился в судорогах, хватал украинца за ноги. «Нагель», – сказал я. «Что?» Лицо его выражало полную растерянность, пистолет безвольно болтался в руке. «Я подожду в машине». В лесу послышались выстрелы, солдаты догнали беглецов; я украдкой посмотрел на свои пальцы, чтобы убедиться, действительно ли я вытащил все занозы. Рядом с ямой один еврей разрыдался.

Очень скоро с подобным дилетантством было покончено. Проносились недели, офицеры набирались опыта, солдаты привыкали к операциям; в то же время было очевидно, что все размышляли о происходящем, о своем месте во всем этом, – каждый в меру собственных возможностей. За ужином по вечерам люди обсуждали операции, рассказывали анекдоты, делились опытом, одни – с горечью, другие – весело. А третьи молчали, вот за ними-то и надо было следить. У нас уже двое покончили самоубийством; а как-то ночью еще один спросонья разрядил в потолок винтовку, его силой связали, унтер-офицер чуть не погиб. Некоторые совершали дикие, порой прямо-таки садистские выходки, били осужденных, мучили их перед казнью; офицеры старались не допускать беспредела, но это было непросто, бесчинства все равно случались. Наши солдаты очень часто фотографировали расстрелы; потом снимки обменивали на табак, вешали на стены, кто угодно мог заказать копии для себя. Военная цензура доносила нам, что многие отсылали карточки семьям в Германию, клеили даже небольшие альбомы с поясняющими подписями; эта тенденция беспокоила руководство, но искоренить ее не представлялось возможным. Да и сами офицеры распустились. Однажды я застал Бора, распевавшего над роящими яму евреями: «Земля холодная, но земля мягкая, рой, еврейчик, рой». Толмач переводил, и все это меня глубоко шокировало. Я знал Бора уже довольно давно, совершенно нормальный человек, никакой особой враждебности к евреям не питавший, он просто выполнял приказы; но, видимо, операции повлияли на него таким образом, что теперь его состояние внушало тревогу. Конечно, в зондеркоманде встречались и настоящие антисемиты; например, Люббе, унтерштурмфюрер, использовал малейшую возможность, чтобы со всей горячностью обрушить на Израиль страшные проклятия, как будто мировое еврейство только и занималось подготовкой заговора против него, Люббе. Он утомил этим всех. Вместе с тем его поведение в дни операций выглядело странным: порой он свирепствовал, но нередко и жаловался по утрам на диарею, внезапно сказывался больным и просил заменить его. «Господи, я ненавижу это отродье, – говорил он, наблюдая за умирающими евреями, – но какая гнусная задача!» Когда я поинтересовался, не помогают ли ему убеждения переносить эту гнусность,

он возразил: «Послушайте, если я ем мясо, то это вовсе не значит, что хотел бы работать на скотобойне». Потом спустя несколько месяцев его все-таки убрали, когда доктор Томас, заместитель бригадефюрера Раша, проводил чистку подразделения. Офицеры, так же как и солдаты, мало-помалу теряли контроль над собой, считали, что для них не существует никаких запретов, что им позволены вещи неслыханные. Это была, в общем-то, естественная реакция: при такой работе границы расплываются, становятся нечеткими. Кроме того, некоторые обворовывали евреев, прятали золотые часы, кольца, деньги, хотя ценности надлежало сдавать в командоштаб для отправки в Германию. Во время операций офицеры обязаны были следить за солдатами орпо – полиции порядка, ваффен-СС, аскарисами, чтобы те не крали. Но офицеры и сами кое-что утаивали. И к тому же они пили, подрывая дисциплину. Однажды вечером, нас тогда расквартировали в какой-то деревне, Бор притащил двух молодых украинских крестьянок и водки. Он, Цорн и Мюллер принялись пить с девицами, лапали их, лезли под юбки. Я сидел на кровати и пытался читать. Бор окликнул меня: «Идите, развлекитесь». – «Нет, спасибо». Одна из девок расстегнулась и сидела полуголая, покачивая слегка обвисшими желеобразными грудями. Их похоть, жирные тела вызывали отвращение, но деваться мне было некуда. «Чего это вы загрустили, доктор?» – прицепился Бор. А я смотрел на них и видел их насквозь, словно в рентгеновских лучах: под кожей я четко различал скелеты, когда Цорн прижимал к себе девицу, я видел, как их кости трутся друг об друга, разделенные тончайшей оболочкой, они смеялись, а мне казалось, что скрежещущие звуки вырываются прямо из челюстей черепа; завтра они состарятся, девицы разостелеются, или, наоборот, от них останутся кожа да кости, а высохшие груди повиснут, как маленькие пустые бурдюки; потом Бор, Цорн и их девки умрут, их закопают в холодную землю, мягкую землю, совсем как уничтоженных во цвете лет евреев, и рты, набитые землей, больше не засмеются, так стоит ли участвовать в столь печальной оргии? Задай я этот вопрос Цорну, он бы ответил: «Вот именно, чтобы пользоваться моментом, прежде чем сдохнуть, чтобы получить хоть немного удовольствия». Но дело тут вовсе не в удовольствии, я тоже умею его получать, когда хочу, нет, дело, без сомнения, в их пугающей особенности – отсутствии самосознания, в их удивительной способности никогда не задумываться ни о хорошем, ни о плохом, плыть по течению, убивать, не понимая зачем и ни о чем не заботясь, лапать девок, коль скоро они ничего не имеют против, пить и не делать даже попытки подняться над требованиями плоти. Вот, собственно, чего я не понимал, но меня никто и не просил понимать.

В начале августа зондеркоманда приступила к первой чистке в Житомире. По имеющимся у нас данным здесь до войны проживало тридцать тысяч евреев; большинство бежало с Красной Армией, и теперь их оставалось около пяти тысяч, то есть девять процентов от общего населения. Раш счел, что слишком много. Генерал Рейнхардт, командующий 99-й дивизией, выделил нам в помощь солдат для *Durchkämmung*, этот замечательный немецкий термин означает «прочёсывание». У всех нервы слегка пошаливали: первого августа Галицию включили в состав генерал-губернаторства, и волнения в частях батальона «Нахтигаль» докатились до Винницы и Тирасполя. Нам предстояло выявить среди наших пособников всех офицеров и унтер-офицеров ОУН-Б, арестовать их и отправить с офицерами «Нахтигаль» к Бандере в концлагерь Заксенхаузен. С тех пор приходилось держать ухо востро с теми, кто остался, все они были ненадежны. В Житомире бандеровцы убили двух чиновников-мельниковцев, наших ставленников; сначала мы подозревали коммунистов; потом расстреляли всех партизан ОУН-Б, которых только нашли. К счастью, у нас установились прекрасные отношения с вермахтом. Участников Польского похода это удивляло; они рассчитывали на вынужденное сотрудничество и не более того, а наши отношения со штабами командования стали теплыми и дружескими. Очень часто именно армия проявляла заинтересованность в наших акциях, они нас просили расстреливать евреев в деревнях, где имели место случаи саботажа, а заодно и партизан, называя это карательными операциями, они сами поставляли нам евреев и цыган, чтобы

мы их казнили. Фон Рок, командующий прифронтовой области Юга, отдал приказ: в случае, если не удалось с точностью установить зачинщиков саботажа, следует применить карательные меры к евреям или русским, нельзя всю вину возлагать на украинцев. *Мы должны внушить, что мы справедливы.* Разумеется, не все офицеры вермахта одобряли подобные методы, в особенности, по словам Раша, понимания ситуации не доставало пожилым офицерам. У айнзатц-группы возникали проблемы и с некоторыми начальниками дулагов, отказывавшимися выдавать нам комиссаров и евреев-военнопленных. Но фон Рейхенау, мы знали, горячо защищал СП. А иногда даже случалось, что вермахт нас опережал. Штаб некой дивизии решил остановиться в деревне, но мест не хватало: «Тут евреи еще есть», – сообщил нам командующий штабом, и АОК поддержал его просьбу: требовалось перестрелять всех евреев мужского пола, потом собрать женщин и детей в нескольких домах, чтобы освободить остальные для расквартирования офицеров. В рапорте значилась «карательная операция». Другая дивизия до того дошла, что просила нас уничтожить пациентов психбольницы, которую хотела занять; группенштаб с негодованием заявил, что *люди СП не палачи вермахта*: «Для СП подобная акция не представляет ни малейшего интереса. Сделайте это сами». (Однажды Раш все же отдал приказ расстрелять сумасшедших, потому что все охранники и медсестры оставили больницу, и он опасался, что больные воспользуются этим и разбегутся, а на свободе они, конечно, представляли собой угрозу безопасности.) Впрочем, все только набирало обороты. Из Галиции до нас докатились слухи *о новых методах*; Йекельну, очевидно, прислали мощное подкрепление, и он приступил к чисткам еще более масштабным, чем те, что им когда-либо предпринимались. Кальсен, вернувшись из командировки в Тернополь, пробормотал что-то невнятное о «сардинах», но отказался что-либо объяснять, и никто не понял, о чем он говорил. Потом вернулся Блобель. Он выздоровел и действительно пил теперь меньше, но оставался таким же злобным, как и раньше. Время я проводил в основном в Житомире. Томас находился там же, и мы встречались чуть ли ни каждый день. Было очень жарко. В садах ветви сгибались под тяжестью лиловых слив и абрикосов; на окраинах города, на частных земельных участках созрели тяжелые тыквы, кое-где виднелись уже высохшие початки кукурузы и стоящие отдельно ряды подсолнухов, клонившие головы к земле. Когда выпадали свободные часы, мы с Томасом уезжали за город на реку Тетерев искупаться и покататься на лодке; потом лежали под яблонями, пили плохое бессарабское белое вино, закусывая хрустящими плодами, валявшимися в траве, только руку протяни. Партизаны тогда еще не появились, все было спокойно. Иногда мы, как студенты, читали друг другу вслух целые отрывки, показавшиеся нам любопытными или забавными. Томас нашел где-то французскую брошюру Института исследований еврейской проблемы. «Послушай, что за удивительное произведение. Статья „Биология и сотрудничество“ некоего Шарля Лавилля. Вот. *Политика либо должна основываться на биологии, либо вообще не должна существовать.* Слушай, слушай. *Хотим мы остаться примитивной колонией полипов? Или, наоборот, мы хотим двигаться к высшей стадии развития?*» Он читал по-французски, почти нараспев. «*Ответ: именно клеточным соединениям элементов, способным к взаимодополняемости, принадлежала важнейшая роль в формировании высших приматов, в том числе и человека. Отказываться от подобных соединений, имеющихся сегодня в нашем распоряжении, означало бы, в некотором роде, преступление против человечества, а также против биологии.*» А я тогда знакомился с перепиской Стендаля. Как-то саперы позвали нас поплавать на моторной лодке; Томас, уже немного навеселе, удобно вытянулся на носу и придерживал ногами ящик с гранатами, он доставал гранату, срывал чеку и лениво бросал через голову; нас накрывало поднимавшимися из воды фонтанами, саперы запаслись сетями и вытаскивали десятками оглушенную рыбу, барахтавшуюся в струе за кормой, они хохотали, а я любовался их загорелой кожей и беззаботной юностью. По вечерам Томас порой заходил к нам на квартиры послушать музыку. Бор подобрал еврейского сироту и теперь считал его своим талисманом: мальчик мыл машины, натирал ботинки и чистил офицерам пистолеты,

но прежде всего он играл на фортепиано, как молодой бог, легко, живо, непринужденно. «За такое туше все прощается, даже еврейство», – говорил Бор. Он просил играть Бетховена или Гайдна, но паренек, Яков, предпочитал Баха. Невероятно, но он знал наизусть, наверное, все сюиты. Даже Блобель его не трогал. Если Яков не играл, я развлекался, дразня своих коллег, я им зачитывал письма Стендаля об отступлении из России. Некоторые страшно оскорблялись: «Да, французы, возможно, никчемный народишко. Но мы – немцы». – «Справедливо. Но русские-то остаются русскими». – «Совсем нет! – спорил Блобель. – Семьдесят или даже восемьдесят процентов населения СССР по происхождению монголы. Уже доказано. И большевики проводили намеренную политику расового смешения. В Мировую войну, да, мы сражались с настоящими русскими мужиками, они вправду крепкие молодцы, но большевики всех истребили! Настоящих русских, настоящих славян почти не осталось. И к тому же, – продолжал он, противореча самому себе, – славяне – это по определению раса рабов, помесь. Бастарды. Ни один из их князей не был чистокровным русским, всегда примешивалась то норманнская, то монгольская, потом немецкая кровь. Даже их национальный поэт и тот метис, африканец, но они к такому терпимы, разве это не доказательство...» – «В любом случае, – поучительно прибавил Фогт, – Бог на стороне Рейха и немецкого народа. Мы не можем проиграть войну». – «Бог? – взъярился Блобель. – Бог – коммунист. Попадись Он мне, я с Ним разберусь как с Его комиссарами».

Блобель знал, о чем говорил. В Чернякове СП поймала председателя и еще одного сотрудника областной *тройки* НКВД; их отправили в Житомир. На допросе, проведенном Фогтом и его помощниками, Вольф Кипер сознался, что в общей сложности отдал распоряжение расстрелять более тысячи трехсот пятидесяти человек. Кипер, еврей лет шестидесяти, в 1905-м стал коммунистом, а в 1918-м – народным судьей; второй, Моисей Коган, был помоложе, но тоже чекист и еврей. Блобель советовался с Рашем и оберстом Геймом, все согласились на проведение публичной казни. Кипера и Когана судил и приговорил к смерти военный трибунал. Седьмого августа, с раннего утра, офицеры зондеркоманды, при содействии орпо и аскарисов, начали арестовывать евреев и сгонять их на рыночную площадь. Для проведения пропагандистской кампании 6-я армия выделила машину с громкоговорителем, которая разъезжала по улицам города, оповещая по-немецки и по-украински о предстоящем мероприятии. Мы с Томасом пришли на площадь ближе к полудню. Там, возле высокой виселицы, сколоченной накануне водителями грузовиков зондеркоманды, уже собрали и усадили на землю, велев держать руки на затылке, четыреста евреев. К оцеплению ваффен-СС стекались сотни зрителей, не только солдаты, но и люди из Организации Тодта и НСКК и украинцы. Площадь заполнилась целиком, ни пройти, ни проехать; солдат тридцать даже взобрались на крытую листовым железом крышу соседнего дома. Мужчины смеялись, шутили; многие фотографировали. Блобель с Гефнером, недавно возвратившимся из Белой Церкви, стоял у подножия виселицы. Фон Радецки, махнув в сторону евреев, обратился по-украински к толпе: «Кто-нибудь хочет свести личные счёты с евреем?» Какой-то человек шагнул вперед и ударил ногой одного из сидящих, потом снова занял свое место; остальные принялись забрасывать их гнилыми помидорами и фруктами. Я смотрел на евреев: серые лица, взгляды испуганные, вопрошающие, что последует дальше. Тут были и старики с густыми седыми бородами и в грязных кафтанках, и довольно молодые. Я заметил, что в оцеплении стояли и солдаты вермахта. «Они-то что здесь делают?» – спросил я у Гефнера. «Это – добровольцы. Вызвались помогать». Я скривился. Среди множества офицеров я не увидел ни одного из АОК. Я направился к оцеплению и поинтересовался у солдата: «Почему ты здесь? Кто тебя просил встать в охрану?» Он смутился. «Где твой начальник?» – «Я не знаю, господин оберштурмфюрер», – он поскреб лоб под пилоткой. «Так зачем ты явился?» – повторил я. «Мы с друзьями ходили сегодня утром в гетто, герр оберштурмфюрер. И вот мы предложили помочь, а ваши коллеги разрешили. Я просто тут еврею заказал пару сапог и пытался его найти перед... перед...» – дальше он не

осмеливался произнести. – «Перед тем, как его расстреляют?» – съязвил я. «Да, герр оберштурмфюрер». – «Ну, и ты его нашел?» – «Да, он там. Но я не смог с ним поговорить». Я обернулся к Блобелю: «Штандартенфюрер, нам надо отослать отсюда людей вермахта. Их участие в *Акции* не санкционировано». – «Оставьте, оставьте, оберштурмфюрер. Очень хорошо, что они проявили энтузиазм. Они настоящие национал-социалисты и тоже стремятся внести свою лепту». Я пожал плечами, вернулся к Томасу. «Если бы мы сегодня торговали зрительными местами, то разбогатели бы», – Томас, усмехнувшись, кивнул подбородком в сторону толпы. «АОК придумал этому название Ehekutionstourismus – экскурсии на казни». Приехал грузовик, пристроился под виселицей. Двое из ваффен-СС вывели оттуда Кипера и Когана, в крестьянских рубахах, с руками, скрученными за спиной. С момента ареста у Кипера поседела борода. Наши водители положили доску поперек кузова, влезли на нее и принялись завязывать петли. Я отметил, что Гефнер держался в отдалении и мрачно курил; Бауэр, личный шофер Блобеля, проверил узлы. Потом поднялся Цорн, потом эсэсовцы втащили осужденных. Их поставили под веревками, Цорн выступил с речью, по-украински огласил приговор. Собравшиеся вопили, свистели, заглушали Цорна, он несколько раз требовал тишины, но никто не обращал на него внимания. Солдаты делали снимки, хохотали, тыкали в евреев пальцами. Цорн и эсэсовцы накинули Киперу и Когану петли на шею. Осужденные не выдавали своих чувств и хранили молчание. Цорн и все остальные спрыгнули с доски, и Бауэр завел мотор. «Медленнее, медленнее», – кричали солдаты, чтобы успеть сфотографировать. Грузовик тронулся, те двое на доске пытались удержать равновесие, потом сорвались один за другим и закачались вперед-назад. С Кипера упали брюки; под рубахой я с ужасом увидел набухший, еще эякулирующий член. «Nix Kultura!» – злобно заорал какой-то солдат, другие подхватили. На перекладину виселицы Цорн приколотил листовки с объяснением приговора; там сообщалось, что все жертвы Кипера, все тысяча триста пятьдесят человек *без исключения фольксдойче и украинцы*.

Потом солдаты из оцепления приказали евреям встать и идти. Блобель взял к себе в машину Гефнера и Цорна; фон Радецки пригласил меня в свою, а заодно захватил и Томаса. Толпа устремила за евреями, поднялся невообразимый шум. Все двинулись за город к так называемому *Pferdefriedhof*, лошадиному могильнику; там уже вырыли траншею, а за ней установили опоры с набитыми поперек них досками, чтобы улавливать не попавшие в цель пули. Оберштурмфюрер Графхорст, командовавший нашей ротой ваффен-СС, и двадцать его солдат стояли рядом. Блобель и Гефнер осмотрели траншею; все ждали. Я погрузился в размышления. Я думал о своей жизни, о том, что же связывает ту, прожитую мною жизнь – жизнь вполне обычную, заурядную, а кое в чем особенную, необыкновенную, но и в самой этой необыкновенности довольно-таки заурядную – с происходящим здесь и сейчас. Связь должна была существовать и, несомненно, существовала. Конечно, я не участвовал в расстрелах, не командовал взводом; но, по сути, это ничего не меняло, я же постоянно присутствовал на операциях, помогал в их подготовке и затем составлял рапорты; впрочем, то, что меня определили в Штаб, чистая случайность. А если бы мне поручили командование подразделением, смог бы я, как Нагель или Гефнер, организовывать облавы, приказывать рыть ямы, выстраивать обреченных и кричать: «Огонь!»? Да, бесспорно! С детства я был одержим стремлением к абсолютному и преодолению границ; эта страсть и привела меня к расстрельным рвам на Украине. Я всегда желал мыслить радикально; вот и государство, и нация тоже выбрали радикальное и абсолютное; и что же теперь – пойти на попятный, сказать «нет», предпочесть комфорт бюргерских законов, пресловутую надежность общепринятых норм? Никак невозможно. И если радикальность оборачивается пропастью, а абсолютное – абсолютным злом, следует, в этом я совершенно убежден, идти до конца, широко раскрыв глаза. Толпа прибывала и заполняла кладбище; я увидел солдат в купальных костюмах, и женщин, и детей. Кто-то пил пиво, кто-то обменивался сигаретами. Потом мне на глаза попала группа офицеров штаба: оберст фон Шулер из отдела Па и многие другие. Графхорст, командир роты, велел своим людям занять позиции. Теперь стре-

ляли из расчета одна винтовка на одного еврея, целились в грудь, в область сердца. Часто такой выстрел оказывался не смертельным, тогда стрелок лез в яму и доводил дело до конца; вопли и стоны смешивались с гулом толпы. Гефнер, полуофициально руководивший операцией, ревел как бешеный. В промежутке между залпами из толпы выходили солдаты и просили ваффен-СС уступить им место; Графхорст не возражал, и его люди передавали винтовки солдатам, те стреляли пару раз и возвращались к своим приятелям. Люди из ваффен-СС были молоды, и уже с начала расстрела стало очевидно, что они растеряны и взволнованы. Гефнер набросился с руганью на одного из них, который постоянно передавал свой карабин добровольцам и, совершенно бледный, отходил в сторону. Серьезная проблема заключалась еще и в том, что многие промахивались. Гефнер остановил операцию и принялся шушукаться с Блобелем и еще двумя офицерами вермахта. Я их не знал, но по петлицам на воротниках определил, что это военный судья и врач. Потом Гефнер вступил в спор с Графхорстом. Я видел, что Графхорст не соглашается с Гефнером, но слов разобрать не мог. Наконец, Графхорст приказал привести евреев. Их поставили лицом к яме, стрелки из ваффен-СС прицелились не в грудь, а в голову. В итоге вышло ужасно: черепа разлетались на куски, и лица стрелявших забрызгало кровью и мозгами. Одного из стрелков-добровольцев вырвало, его товарищи, солдаты вермахта, подняли его на смех. Графхорст побагровел и принялся поносить Гефнера, потом повернулся к Блобелю, и спор вспыхнул снова. Решили сменить метод еще раз: Блобель добавил стрелков, теперь стреляли, как в июле, по двое, в затылок; когда требовалось, сам Гефнер делал контрольный выстрел.

Вечером после расстрела мы с Томасом отправились в казино. Офицеры АОК оживленно обсуждали события дня; они поздоровались с нами вежливо, но с заметным смущением и неловкостью. Томас сразу вмешался в беседу; я отступил к оконной нише и курил в одиночестве. После ужина споры возобновились. Я заметил военного судью, днем разговаривавшего с Блобелем, он был особенно возбужден. Я присоединился к остальным. Как я понял, офицеры не имели ничего против самой операции, возмущение вызывало присутствие такого количества солдат вермахта и их участие в расстреле. «Другое дело, если бы им приказали, – напирал судья, – иначе это недопустимо. Это позор для вермахта». – «Почему? – обронил Томас. – Что же, СС могут стрелять, а вермахту не разрешают даже смотреть?» – «Не о том речь, совсем не о том. Важен порядок. Подобные задачи неприятны всем. Но исполнять их должны только те, кто получил приказ. В противном случае военная дисциплина просто рухнет». – «Я готов поддержать доктора Нойманна, – вступил Нимейер, офицер абвера. – Это не спортивное мероприятие. А люди вели себя, как на скачках». – «Однако, герр оберстлейтенант, – напомнил я ему, – АОК согласился публично объявить об операции. Вы даже одолжили нам свои подразделения». – «Я вовсе не критикую отряды СС, выполняющие труднейшую работу, – защищался Нимейер. – Действительно, мы всё обговорили заранее и согласились, что публичная казнь послужит наглядным примером гражданскому населению, которому полезно воочию увидеть, как мы крушим власть евреев и большевиков. Но все зашло слишком далеко. Ваши солдаты не должны были давать винтовки нашим». – «А ваши, – резко парировал Томас, – не должны были эти винтовки выпрашивать». – «По крайней мере, – воскликнул судья Нойманн, – надо поставить вопрос перед генерал-фельдмаршалом».

В результате мы получили очередное, типичное для фон Рейхенау распоряжение: подчеркивая *необходимость уничтожения преступников, большевиков и особенно еврейских элементов, он запрещал солдатам 6-й армии без приказа старшего офицера присутствовать при операциях, участвовать в них или фотографировать их.* Ничего, конечно, по существу не изменилось, но Раш велел проводить операции за пределами городов и ставить оцепление по всему периметру, чтобы предупредить появление «зрителей». Казалось, отныне будет соблюдаться строгая секретность. Однако желание поглазеть на такое заложено в природе человеческой, и, перелистывая «Государство» Платона, я наткнулся на отрывок, живо напомнивший мою реак-

цию при виде трупов во дворе крепости Луцка: *Леонтий, сын Аглайона, возвращаясь из Пирея, по дороге, снаружи под северной стеной, заметил, что там у палача валяются трупы. Ему и посмотреть хотелось, и вместе с тем было противно, и он отворачивался. Но сколько он ни боролся и ни закрывался, возжелание оказалось сильнее – он подбежал к трупам, широко раскрыв глаза и восклицая: «Вот вам, злополучные, насыщайтесь этим прекрасным зрелищем!»*<sup>15</sup>. Честно говоря, солдаты редко испытывали трепет Леонтия, но зато жаждали впечатлений, возможно, высшее командование беспокоила мысль, что люди способны получать удовольствие от подобного рода деятельности. Не стану отрицать, действительно многим это нравилось. Некоторые наслаждались самим процессом, но таких скорее воспринимали как больных и вполне справедливо порицали, отстраняли от дел или давали другие поручения, а иногда, если они окончательно переступали границы, даже судили. Что касается остальных, испытывавших отвращение к операциям или просто равнодушных, они всё исполняли из чувства долга и упивались своей преданностью делу, своей способностью, несмотря на омерзение и ужас, успешно справляться с трудным заданием. «Мне неприятно убивать», – твердили они, наслаждаясь собственной добродетелью и непоколебимостью. Совершенно очевидно, что наверху рассматривали проблему в общем виде, и полученные нами разъяснения оказались поэтому неконкретными и расплывчатыми. Einzelaktionen, то есть акции, предпринятые по личной инициативе, приравнивались к обыкновенным убийствам и карались. Фон Рок, опираясь на приказ верховного командования вермахта о дисциплине, обнародовал распоряжение, согласно которому солдаты, самовольно открывшие огонь по евреям, получали шестьдесят дней ареста за неповиновение; в Лемберге, по слухам, унтер-офицера осудили на шесть месяцев тюрьмы за убийство какой-то старой еврейки. Однако чем больший масштаб приобретали акции, тем сложнее было контролировать их исполнение. Одиннадцатого и двенадцатого августа бригадфюрер Раш собрал в Житомире всех командующих зондеркомандами и айнзатцкомандами: кроме Блобеля, Германа из подразделения 4-б, Шульца из 5-го и Крогера из 6-го присутствовал Йекельн. День рождения Блобеля выпадал на тринадцатое, и офицеры решили его отметить. Весь день Блобель пребывал в настроении еще более отвратительном, чем обычно, и несколько часов провел в одиночестве, запершись у себя в кабинете. Что до меня, я был довольно сильно занят: мы как раз получили приказ группенфюрера Мюллера, главы гестапо, собрать для передачи фюреру видеоматериалы о нашей деятельности – фотографии, киноплёнки, листовки, плакаты. Прежде всего я направился в группенштаб к завхозу Гартлю договариваться о выделении небольшой суммы, чтобы купить у солдат отснятые плёнки; он сначала отказал, сославшись на приказ рейхсфюрера, запрещающий членам айнзатцгрупп использовать казни в каких бы то ни было целях; впрочем, для самого Гартля продажа фотографий обернулась бы выгодой. В конце концов мне удалось убедить его в том, что просить людей финансировать из собственного кармана работу айнзатцгруппы невозможно, и следует избавить их от расходов на печатание снимков, необходимых нам для архивов. Он согласился при условии, что мы заплатим только унтер-офицерам и солдатам; а офицеры пусть проявляют фотографии на свои средства, если таковые у них имеются. Заручившись согласием Гартля, остаток дня я провел в бараках, изучая коллекции наших солдат и заказывая снимки. Среди солдат были превосходные фотографы, но их работы оставляли у меня неприятный осадок, при этом я, словно замороженный, не мог отвести от них глаз. Вечером офицеры собрались в столовой, украшенной Штрельке и его помощниками по случаю праздника. Когда Блобель присоединился к нам, он был уже подшофе, глаза его налились кровью, но он держал себя в руках и говорил мало. Фогт, самый старший по возрасту, поздравил именинника от всех нас и предложил тост за его здоровье; потом мы попросили Блобеля сказать что-нибудь. Он колебался, затем поставил стакан на стол, скрестил руки за спиной и обратился к нам: «Господа! Я

<sup>15</sup> Платон, «Государство», книга четвертая. Перевод А. Н. Егунова.

благодарю вас за поздравления. Ваша искренность тронула меня до глубины души. Сожалею, но у меня для вас сообщение иного рода. Вчера высший командующий СС и полиции в России, обергруппенфюрер Йекельн, передал нам новый приказ. Это прямое распоряжение рейхсфюрера СС, исходящее, однако, – я подчеркиваю так же, как подчеркнул это обергруппенфюрер, – лично от фюрера». Блобель трясло, он втягивал щеки, прикусывал их. «Отныне наши действия распространяются на все еврейское население. Без исключений». Присутствующие оцепенели; затем разом заговорили. В голосе Кальсена сквозило недоверие: «Все?» – «Все», – подтвердил Блобель. «Но, послушайте, это невозможно», – умоляюще воскликнул Кальсен. Я молчал, меня словно сковало холодом, О господи, думал я, ведь это придется выполнять, так приказано, и ничего другого не остается. Охваченный безграничным ужасом, я никак не выказывал этого, держался спокойно, дышал ровно. Кальсен негодовал: «Штандартенфюрер, многие из нас женаты, у нас дети. Нельзя требовать от нас такого». – «Господа, – Блобель говорил тихо, но решительно, – речь идет о приказе нашего фюрера, Адольфа Гитлера. Мы национал-социалисты и служим в СС, и мы подчинимся. Поймите: в Германии мы смогли решить еврейский вопрос без эксцессов и в соответствии с требованиями гуманности. Но, завоевав Польшу, мы в придачу получили еще три миллиона евреев. Никто не знает, что с ними делать и куда девать. Здесь, в этой огромной стране, где мы ведем войну на уничтожение со сталинскими ордами, мы вынуждены с самого начала принять самые решительные меры, чтобы обеспечить безопасность наших тылов. Надеюсь, вы все осознаете необходимость и неизбежность наших действий. Мы не в состоянии патрулировать каждую деревню и одновременно вести сражение; однако мы не можем позволить потенциальным врагам, хитрым и коварным, притаиться у нас за спиной. В Главном управлении имперской безопасности обсуждается возможность переселить евреев в резервацию в Сибирь или на Север после нашей победы. Так и им будет спокойнее, и нам. Но сначала надо победить. Мы уже истребили тысячи евреев, но остались десятки тысяч; чем глубже продвигаются наши войска, тем больше попадает евреев. А ведь если мы уничтожим мужчин, некому станет кормить их женщин и детей. У вермахта нет средств на прокорм десятков тысяч никому не нужных еврейских самок и их детенышей. Обречь их на голодную смерть тоже невозможно: это методы большевиков. Учитывая все обстоятельства, действительно самое гуманное решение – включить их, вместе с мужьями и сыновьями, в наши операции. Кроме того, опыт показывает, что плодovitое еврейство Восточной Европы – настоящий питомник, где возвращаются новые силы и иудео-большевизма, и капиталистической плутократии. Если мы позволим выжить кому-нибудь из этих особей, то в результате естественного отбора получим новую формацию, еще более опасную, чем предыдущая. Сегодняшние еврейские дети завтра превратятся в мятежников, партизан и террористов». Офицеры мрачно молчали; Кериг, я обратил внимание, пил, не останавливаясь. Глаза Блобеля, красные, затуманенные алкоголем, сверкали: «Мы все, национал-социалисты и солдаты СС, состоим на службе у нашего народа и фюрера. Напоминаю вам: *Führerworte haben Gesetzeskraft*, слово фюрера – закон. Вы должны противостоять искушению проявить человечность». Блобель особым умом не отличался; эти отточенные формулировки вряд ли принадлежали ему самому. Но верил он им безоговорочно; что еще важнее, хотел им верить и в свою очередь делился с теми, кто в них нуждался. Для меня подобные словеса особого значения не имели, свои умозаключения я строил самостоятельно. Но сейчас мне было не до размышлений, голова гудела, страшно сдавливало виски, хотелось побыстрее уйти спать. Кальсен крутил на пальце обручальное кольцо, наверняка сам того не замечая; он порывался что-то сказать, но передумал. «*Schweinerei, eine grosse Schweinerei*»<sup>16</sup>, – бормотал Гефнер, и никто ему не возражал. Блобель, похоже, выдохся, исчерпал запасы идей, но мы почувствовали, как сила его воли подчинила и теперь удерживала всех присутствующих на месте, точно так же, как чья-то воля удерживала его самого. В

<sup>16</sup> Свинство, величайшее свинство (нем.).

такой стране, как наша, роли распределены четко: ты – жертва, а ты – палач, выбора никому не предоставили и согласия не спросили, потому что все были взаимозаменяемы, и жертвы, и палачи. Вчера мы расстреливали евреев-мужчин, завтра женщин и детей, послезавтра еще кого-нибудь; и нас, как только мы отыграем свою роль, тут же заменят. Германия, по крайней мере, не избавлялась от палачей, даже заботилась о них, в отличие от Сталина с его болезненным пристрастием к чистке рядов; что, в общем-то, не противоречило логике вещей. Для русских, как и для нас, человек не стоил ничего, нация, государство стали всем, в этом смысле мы были отражением друг друга. Евреи тоже обладали развитым чувством общности, ощущением единого народа: они оплакивали мертвых, хоронили их, если могли, и читали каддиш; пока хоть один еврей жив, живет Израиль. Без сомнения, они превратились в наших заклятых врагов именно потому, что оказались слишком похожими на нас.

О проблеме гуманности речь не шла. Конечно, кому-то нравилось критиковать наши действия, исходя из религиозных ценностей, я к таковым не принадлежал, и в СС таких вряд ли насчитывалось много; или, апеллируя к ценностям демократическим, но то, что принято называть демократией, мы в Германии проскочили уже какое-то время назад. Блобель рассуждал совсем не глупо: если высшую ценность представляет Volk, народ, к которому мы принадлежим, и если воля этого Volk воплощена в его вожде, тогда и в самом деле Führerworte haben Gesetzeskraft. Тем не менее жизненно важно было самому понять необходимость приказов фюрера: тот, кто, исполненный прусского духа послушания, покоряется просто как холоп, Knecht, не понимая и не воспринимая, то есть не *повинаясь*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.